

Д.А. Фридрихсберг

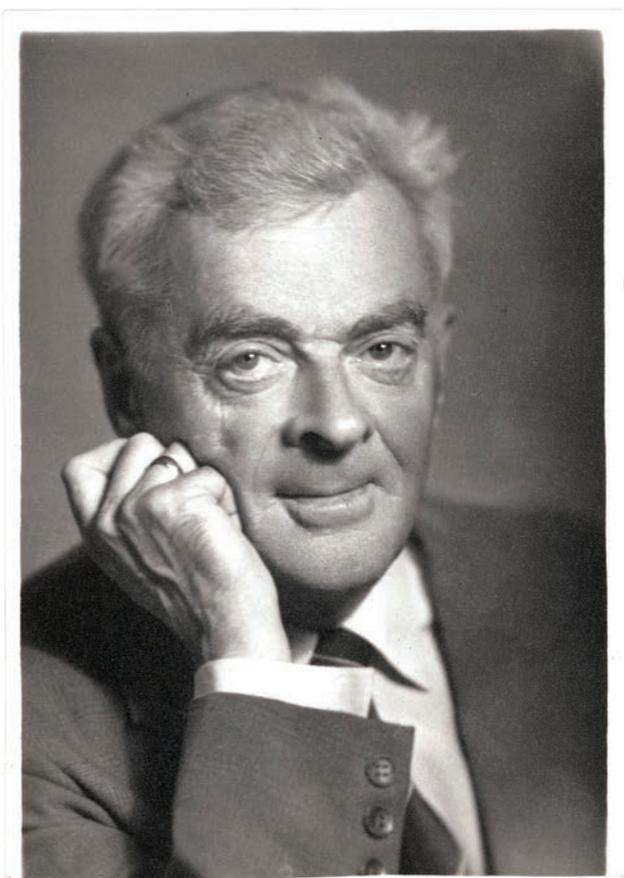
Мои пути

2015

Санкт-Петербург

Оглавление

1. Введение	3
2. Семья	4
3. Детство	7
4. Школа	10
5. Работа	17
6. Ленгосуниверситет	22
7. Без названия	33
8. Отечественная война. Блокада Ленинграда. Казахстан.	47
9. Родные и близкие	60



Данное повествование – автобиографические заметки Дмитрия Александровича Фридрихсберга (1915–1989), известного учёного в области коллоидной химии, о своей непростой жизни. Послереволюционное детство, довоенные репрессии, война, эвакуация – рассказы об этом, написанные простым и лёгким языком, вероятно, будут интересны многим, а не только знавшим Дмитрия Александровича лично.

Рукописный вариант данного повествования был создан в 1985–1988 годах. Издание подготовлено к 100-летию со дня рождения Д.А. Фридрихсберга (2015) Л.Э. Ермаковой и Н.П. Кудиной, коллегами Дмитрия Александровича, а также его внуком, Д.В. Булавиновым. В оформлении использованы фотографии и документы из семейного архива.

По всем вопросам связывайтесь, пожалуйста, с Дмитрием Булавиновым:
www.bulawka.ru
+7 (921) 949-1166

1. Введение

Для человека, не писавшего дневников, имеет смысл, мне кажется, уделять часть времени и сил (пока они ещё сохранились) написание кратких записок. Они отличаются от дневников как, может быть, рисунок от фотографии. В них не хватает непосредственности восприятия, свежести чувств, мыслей с их трактовкой, которые в данный момент кажутся главными, а потом постепенно утрачиваются. Зато время, стирающее детали, позволяет существенному отстояться.

Остаются в памяти, главным образом, факты и эмоциональная их окраска. А мысли и соображения, ими вызванные, постепенно тускнеют в памяти, и едва ли стоит стараться их сохранять. Они менее индивидуальны и дальше отстоят от собственного «я». Тем более, что о жизни, в обобщенной форме, написано так много большими и понимающими людьми, что без таланта к этому, едва ли стоит за такое дело браться. Поэтому хочется ограничиться краткой и более фактической стороной.

Для чего их писать? Вероятно, для близких друзей, для родных, для понимающих учеников; с ними я делился чувствами и мыслями, но какую-то частицу своего «я» хочется выразить более чётко. И оставаться жить после того, как всё забудешь — не сладко. Я пережил многих близких и хороших людей и часто жалко, что от них не осталось записок или писем. Конечно, не всегда хватает читателя, все так заняты, что это естественно, но грустно.

Для человека, не претендующего на публикацию, я был бы рад, если пять человек их внимательно прочитают. Этого достаточно для нормального «духовного воспроизводства» и продолжения, в этом смысле, жизни на свете. Духовные вопросы, конечно, главное, но писать об этом надо много и хорошо, иметь для этого талант; в кратких записках хочется дать подобие канвы, по которой каждый может, в меру способностей, вышивать свои узоры.

Я прожил семьдесят лет в России, видел нашу родину в разные времена; главное моё желание — прожить остальную часть жизни здесь, на родине. Я принимаю основные принципы нашей жизни, хотя многое, что окружает, вызывает недовольство; есть, о чём мечтать, но больших надежд на воплощение мечтаний пока не видно. Часто думаю (перед сном), что бы я сделал, если, по волшебству, мне было бы дано сделать все, что захочу? Конечно, прежде всего, хотелось бы очистить все уровни руководства от проходимцев, карьеристов, прохвостов, подонков;

их, вероятно, немало, но даже если их и немного — они могут многое испортить (при современном уровне образования) в душевном мире, в жизни больших, обычных, беспартийных человеческих масс и их потомков. Но как это сделать сегодня, как воспитывать этих людей и всех — я не знаю, не знаю, что конкретно просить у золотой рыбки. Эти мысли показывают, как трудно быть руководителем страны, особенно такой, как наша.

Как хорошо, что приходит такое время (которого не было за всю историю нашего телевидения, и вообще на нашем веку), когда с увлечением смотришь с экрана и слушаешь политические выступления (без обычных шпаргалок) в хорошем сочетании с великой Мирей Матьё!

Эти слова надо бы не в записки, а в дневник, которого я не веду. Слово «великая», думаю, можно сказать о ней, как и о Вивьен Ли, Одри Хэпберн, думаю и о Вере Комиссаржевской (о которой много рассказывала мне мама и подруга моей тётки, Наталия Павловна Миропольская, артистка её театра, сохранившая в 92 года удивительную свежесть ума). Они — великие, потому что в них была непостижимая тайна, как в Клеопатре, о которой Плутарх пишет: «Её красота сама по себе не очень поражала, но в её общении была неотразимая чарующая сила и наружность, которые вместе с обворожительной речью и таинственной прелестью её обхождения, оставляли жало в душе тех, кто её знал». Я рад, что мне в жизни удалось увидеть много раз на сцене великое явление — Галину Уланову!

Я понимаю диссидентов и им несколько сочувствую и жалею, что они, насыщаясь плохим, не стараются видеть главное в жизни — хорошее, но бежать, как крысы с корабля в минуту опасности — не моя стихия. Я потерял многое и многих, в жизни были многие беды, но были настоящие радости, близкие живые люди и память, благодарная память о них; есть могилы на своей земле.

Сила жизни — пить из единственного чистого источника жизни — радости. Не знаю, сколько жизненных путей дано человеку. Сколько бы их ни было, тем более — если один — я рад, что прошёл его и пока ещё прохожу. Я рад, что мне пришлось встретиться в жизни с большим человеческим счастьем («...целая минута счастья, да разве этого мало хотя бы на всю жизнь человеческую» Ф. Достоевский). Рад, что до сих пор не пришлось разочаровываться в близких — друзьях, родных, моих учениках. Правда, я не учил их лёгким победам, достижениям

красивой жизни, материальным успехам, «престижным» (противное слово!) доблестям. Мне казалось, что жить надо в своей работе, терпеливой и добросовестной и в тех кратких, как искры молний, вспышках, которые воспринимаешь, как творческие (чем реже эти вспышки, тем заметнее). Вот почему хочется тратить силы и время (которых остается всё меньше) на писание. Я рад, что контакты близких людей со мной не сделали их, по моему мнению, хуже.

Слишком редко я рассматривал как заслугу или как грех все (длинные или короткие) жизненные дела мои (не больно существенные). Чем дальше живешь, тем явственнее становится второе рассмотрение (грех!).

2. Семья

Вся моя жизнь связана с Ленинградом. Родился я 22 июня (по старому стилю 9 июня) 1915 года в г. Павловске (под Ленинградом) в интеллигентной семье, очень небогатой. Отец мой, Александр Вильгельмович, был судебным следователем по уголовным делам в Царском Селе (ныне г. Пушкин) в Софийском участке. День моего рождения — солнечный зенит — самый длинный день года. (Потом немцы преподнесли ко дню рождения подарок — начали вероломное нападение на нашу землю, вероломное — без объявления войны, на соседа, связанного договором о ненападении.)

Отец мой был выходцем из германских народов, по-видимому, из датчан или голландцев. Фамилия предков была «Родриксбеер» (потом её переделали на немецкий лад). Предки, при Петре I, приехали в Архангельск, где стали корабельными мастерами. Помню, отец рассказывал, как зимой они ехали на санях, недели три, всем домом в Петербург. Дед мой, Вильгельм Фёдорович, окончил Санкт-Петербургский Университет по естественному отделению (по математике) и стал работать учителем математики в гимназии г. Кронштадта (позже — директором гимназии). Бабушка по отцу, Паулина Дес-Фонтейнес, была дочерью промышленника архангельской льняной мануфактуры в Сольвычегодске. Её предки — выходцы из Голландии, тоже, при Петре I, приехавшие в Россию. О моих предках, к сожалению, знаю очень мало. Сохранились фотографии моих деда и бабушки (с отцовской стороны), которые снимал мой отец. Моя бабушка, Паулина Абрагамовна Дес-Фонтейнес происходила от некоего разведчика короля Карла XII, приехавшего в Архангельск при Петре I. О нём есть упоминание в книге

Вчера перечитывал И.А. Бунина «Тёмные аллеи», которые не раскрывал 30 лет. Грустно, но очень хорошо. Он писал это, когда ему было 68 лет. И вот, только теперь, это дошло до меня по-настоящему. Хорошо, что даже в моем возрасте есть возможность открывать новые радости! Я думаю, они не иссякнут. Несмотря на многие трудности, (а может быть благодаря им!) хочется сказать банальные слова — данную мне эту жизнь — я люблю!

Ю. Германа «Россия молодая». У меня сохранилась Библия на голландском языке 1739 года с надписью «Iohan Antony des Fontaines». В этом имени нет ничего родовитого. Означает, что Иоган Антон был из Фонтейнеса (городка в Нидерландах).

Её старшая сестра Анна вышла замуж за Николая Грибанова, владельца мануфактуры под Сольвычегодском. Я недавно прочитал о Грибановых и Десфонтейнесах в прекрасно иллюстрированной книге К. Случевского, где он описывает 4 путешествия с великим князем Владимиром Александровичем (братом Александра III), «По северо-западу России», 1906 г.

Вторая сестра моей бабушки, Жанетта, была женой Николая Александровича Баженова, учителя истории в гимназии. Он написал тоненькую книжку «Учебник русской истории» СПб, 1911 г., изд.8, 156 с. (хранится у меня), очень ясную и чётко написанную (для III классов женских гимназий).

Их дочка Аня была моей любимой тёткой, актрисой Александринского театра (театр имени Пушкина), умерла в 196...году в Доме Ветеранов Сцены, на Петровском острове. Я видел её на сцене много раз. По-моему, она была очень скромной и превосходной актрисой. Сохранился альбом её ролей.

Мои родители вступили в брак в 1903 году после того, как отец окончил СПб университет по юридическому факультету (одно время учился вместе с А.А. Блоком). Моя мама, Вера Болеславовна, была из морской семьи в Кронштадте. Её отец, Болеслав Афанасьевич

Змигородский, из обрусевших поляков, был артиллерийским офицером, стал контр-адмиралом, продолжая служить на флоте по артиллерии. Её мать, Анна Ивановна Доброва, была из Петербургской дворянской небогатой семьи.

Моя мама до замужества несколько лет служила секретарем адмирала Степана Осиповича Макарова, помогала ему (технически, конечно) писать замечательную его книгу «Ермак во льдах». Участвовал в создании книги и Дмитрий Иванович Менделеев, которого мама часто встречала у Макарова. Помню, в детстве я слушал рассказы о Степане Осиповиче, как с трудом он поднимался по флотским ступеням без протекции, из крестьян до выдающегося флотоводца, до трагической гибели его на «Петропавловске» во время русско-японской войны. Эта книга, с дарственной надписью моей маме от Степана Осиповича, уцелела через блокаду и сейчас хранится в нашем доме.

Первый их сын, мой брат Юра, подавал, говорят, надежды; он умер 3-х лет (1904–1907 г.) от менингита. Надо сказать, что моя мама (судя по фото) была интересной – большие, широко расставленные глаза, своеобразное лицо. Было много поклонников – Андреев, 2-ой, офицер, капитан роты матери царя, Марии Фёдоровны, хороший тенор, мечтавший поступить на императорскую сцену; Саша Пини, итальянец, и ряд других.

Отец подарил маме брелок (у меня сохранился и сейчас) в форме знака вопроса, с маленьким бриллиантом. Настойчивость вынудила его придти с револьвером (он был судебным следователем), и угрожать застрелить себя в случае отказа. Пришлось, как она говорила, согласиться. Смерть сына оставила неизгладимый удар на всей её жизни. Она ещё проклинала себя в том, что не досмотрела – кормилица болела тbc и могла заразить ребёнка. Его фото оставляет странное впечатление – какой-то одухотворенности, он выглядит значительно старше, чем трёхлетний ребенок.

Её рана не заросла до конца дней. Похоронен он был на Казанском кладбище в Царском Селе, очень уютном – где памятники дворцовой знати соседствуют с незаметными могилами простого люда. Мама рассказывала, что часто она там встречала императрицу Александру Фёдоровну, которая приходила туда одна, пешком на могилу графа Орлова (красивую усыпальницу в виде круга невысоких колонн из чистейшего белого мрамора; ещё и сейчас она не совсем развалилась). На этом кладбище, позже, я видел мрачный кубический, наглухо закрытый мавзолей без всякой надписи. Говорили, что там

похоронен Боря (одно это имя без слов – на стене) – незаконный сын последнего царя России.

В этом же году (1907) родилась моя сестра, Наташа; умерла она в страшный, военный 1942 год, в Казахстане. Родители жили, как будто, мирно, снимали квартиру в пригороде Царского Села – Софии, отец увлекался картами и танцами. Его называли «королём винта» и первым танцором вальса. В общем, обычная чиновничья жизнь. Позже мама говорила мне, ставя ему в заслугу: «Он никогда не ходил к продажным женщинам». Мама любила концерты в Павловском Вокзале, увлекалась Иоганном Штраусом, Собиновым, Комиссаржевской, Шалапиным.

Я родился на 8 лет позже, в 1915 году. Это смягчило тяжелую рану мамы, но не загладила её. Хорошо, что я не был единственным ребёнком в семье, любимчиком; с сестрой с самого детства отношения самые сердечные.

Два лета мы снимали дачу на берегу озера в Финляндии, в Мустамяки – теперь Горьковское – в Ленинградской области. Есть фото – отец на берегу Лебяжьего озера, на заднем плане – островок с невысоким лесом... Жизнь возвращается на круги своя. Только теперь лес стал повыше, стройные ели – в зеркальной воде. Сколько радостных часов было даровано мне судьбой в этих местах много позже, в Горьковском!

И сейчас, когда пишу эти слова, сижу у окна нашего маленького щитового домика. Душа распахнута ярким краскам ранней осени; солнце иногда пробивается из-за туч, и тогда золото кустов, переходящее в радостный ранний багрец, заливает душу; а черёмухи и клёны ещё желто-зелёные, и с берез тихо осыпаются листья.

Я сижу один, в тёплой натопленной комнате, тихо, чтобы не спугнуть чарующую тишину. Мои дорогие, единственно близкие мои друзья ушли попрощаться с осенним лесом; вспоминается есенинское, осеннее (сейчас о нем вспоминают, наконец, что был он большим поэтом России – сейчас ему исполнилось бы 90 лет).

*Как дерево роняет тихо листья
Так я роняю тихие слова...
И если время, ветром пролетая
Сгребет их все в один ненужный ком
Скажите так: что роща золотая
Отговорила милым языком!*

Как хорошо слово «ненужный ком». Он велик и прост – Есенин, эти два слова всегда вместе; это – творчество.

Хорошо, когда на закате приходит умиротворение.

О революции я, конечно, ничего не помню. Знаю, что мы перебрались в Петроград. Родственник отца оставил нам, уезжая, огромную квартиру с мебелью на 4-ой линии Васильевского острова; на другом углу был рынок. В квартире поселилось правление Петроградского яхтклуба (руководил им человек с редкой фамилией — Людевиг — много позже я встречал эту фамилию, как будто, в спортивных отчётах и, может быть, в ЛГУ).

Отец поступил работать сторожем при этом клубе, и мы жили в этой квартире в маленьком тёмном чуланчике около кухни — комнаты с окнами на Большой проспект были закрыты из-за холода; с топливом было плохо и с едой — тоже. Первыми моими игрушками были цинковые клише яхт и кораблей, валявшиеся по квартире (потом я их, в трудные минуты, сдавал в металлолом); смутно звали они меня в неизвестный мир.

Семья моя получила разрешение на выезд за рубеж. Но перед самым отъездом отец мой неудачно спрыгнул с трамвая на полном ходу

(отдельные трамваи иногда ходили) на углу 4 линии и Большого проспекта; он делал это мастерски и очень любил; позже он учил меня прыгать (только с задней площадки, по ходу трамвая, лицом вперед и ложась в прыжке почти горизонтально, головой, затылком вниз — с сильным толчком назад левой ногой!). Но тут не повезло (или наоборот — не знаю!), он наткнулся на вывороченный булыжник на мостовой и вторично сломал себе ногу. Нога срослась (глаз у него был один; другой выбили ещё в Гейдельберге, где он один год учился), но поездка не состоялась. Никогда я потом в семье не слышал об этом сожалений; часто думаю: какое счастье, что был этот, вероятно, знак свыше и мне удалось вырасти и жить по сей час на родине!

В эти дни, о которых я ничего не помню, родилась моя сестра Нина; она прожила три недели, умерла от недоедания (вернее голода), от плохого ухода; похоронена на Смоленском кладбище у могилы моего деда (умер в 1917 году) Болеслава Афанасьевича.



1916(17)

3. Детство

Первые мои сознательные впечатления связаны с кошмарным сном, который ряд лет повторялся: сижу на горшке, в нашей кладовке и кто-то, которого не вижу, но страшный, сзади поднимает меня и уносит вверх, через заслонку в печурке.

Постепенно открывались комнаты на фасаде, мы переехали в две из них. По Большому в окнах видел первый регулярный трамвай (номер 5 — с двумя красными огоньками). На Васильевском была тогда провинция. Народу мало; по 4-ой линии росли во всю яркие красивые одуванчики, сквозь булыжную мостовую. Вдоль Большого, у каждого дома были свои сады за забором. Потом мы играли там в прятки, казаки-разбойники, лапту — увлекательную, теперь забытую игру. Высокая трава была выше роста. Позже я познакомился с четырьмя дубами (и сейчас три из них ещё стоят) — поперек к узкой центральной проезжей дороге. Это был наш сад, казавшийся дремучим. У каждого дуба была своя форма желудей, и сейчас я помню явственно каждую из них.

Помню ёлку, мы её ставили (отец) в закрытой комнате в «фонаре» и открывали, когда зажигали свечи; высокую, с немногими сохранившимися игрушками и хлопьями ваты. Маленькие подарки. В это время — начало 20-х годов — по 4-ой линии, вплоть до набережной Невы, стоял лес срубленных елок с деревянными крестами внизу, и можно было подбирать со снега овсинки (которыми кормили лошадей, привозивших елки), наперегонки с воробьями.

Летом меня возили на мальпосте, полуразвалившемся, а потом и пешком, на огороды на Голодай, где мой отец работал сторожем садоводства «Знание и труд». Там сажали картошку; у отца была будка на горке, на берегу Смоленки; там было чудесно — сочная трава, цветы, огород. Позже, в 1942 году я свёз на санках туда отца в последний путь и положил в траншею, где горы тел вплотную, укладывались в несколько рядов, в 100 метрах от места, где раньше стояла будка.

Я рано научился читать и писать (в 4 года), было несколько сказок, но взрослая литература пока не привлекала. Зимой по улице (4 линия) стояли высокие горы снега, иногда дворники привозили дровяную машину и дрова и тут же разжигали костер, бурая вода вытекала ручьями. Я собирал трамвайные билеты, которые дарили взрослые; собирать их на улице мне не разрешали, я, конечно, собирал, не боясь заразы, и прятал их в снежные кучи. На билетах был номер маршрута (их уже было больше десятка в Ленинграде), номер участка, цена — 15 копеек.

Они были разноцветные, манящие магией цифр; я воображал эти загадочные трамваи, с неведомыми пассажирами (город я ещё не знал совсем), но магия меня куда-то тянула!

Где-то, в эти годы я зимой, в вечернее время, стоя у витрины на 7-ой линии и глядя на аппетитные сосиски, непроизвольно (слюнки!) лизнул чугунную оградку витрины. Язык сразу примерз, и я в ужасе, из последних сил, оторвал его. К счастью чувствительность к боли была несколько приморожена, но шкурка с языка слезла, и я дольше недели поправлялся. Больше я этого не повторял; правда, уже на 2-ом курсе Университета, я хлебнул в качественном анализе многосернистый аммоний, и вся шкура с языка слезла, как чулок. Всё же я сохранил способность говорить — не знаю, на радость или наоборот?

Шести лет, в 1921 году, я начал писать еженедельный журнал «Иголки», вероятно по образцу «Задушевного слова» (несколько номеров которого у меня дома было). Сохранилось несколько тетрадок того «журнала». Там были коротенькие рассказы о волшебной стране «Иголия», трамвайные маршруты с остановками — Публичная библиотека — Заячий переулок, блошки, которыми я тогда увлекался. Это были старинные блошки в форме линзы, был деревянный шарик, около 3 см в диаметре и битка, которой можно было подводить блошку под шарик и следующим нажимом — перегонять шарик вдоль стола; на краю были установлены воротики (игр тогда не продавали, да и денег в доме не было). Товарищей у меня тогда не было, и я играл один за обе стороны.

Научился рисовать картинки и клеил веера из бумаги. Веер складывался гармошкой, голова подрезалась так, чтобы из неё получался гофрированный круг, к середине привязывалась ниточка и связанная посередине палочка — гармошка вкладывалась в толстую гильзу папиросы «Пушка», после этого к концам гармошки приклеивались 2 тонкие бумажки; дернув за ниточку вверх, раскрывался цветной веер. Думаю, что прочитал этот метод где-нибудь в «Задушевном слове». На Андреевском рынке эти веера имели успех. Мама продавала их, чтобы как-то свести концы с концами. Папа тогда уже начал работать следователем железнодорожного трибунала Ленинградского Военного округа. Помню, сильное впечатление произвело на меня, как он (который меня никогда не бил) спустил с лестницы, пинком, какую-то женщину, которая пыталась всучить ему курицу (а я мысленно пожалел, что курица «улетела»).

Начал понимать логику из разговоров взрослых; папа говорил, что хорошо на службу ходить пешком (от дома до арки Главного штаба он ходил 25 минут), но зато стираешь ботинки (вернее, сапоги). Дома редко кто бывал: мои тётки — Змигородские, Оля, Зоя, Нина (и Жорж) жили на Петроградской, с бабушкой. Иногда приходила тётя Аня Баженова, двоюродная сестра отца, актриса Александринского театра (теперь театр Пушкина) и много рассказывала о театре, об актёрах. Мы с сестрой очень её любили; может быть поэтому Наташа после школы пошла учиться в Театральный институт, по истории театра.

Вместо первого класса меня поместили учиться в частную группу, во дворе рядом со школой, где училась моя сестра (бывшая гимназия Шаффе). Руководили группой Надежда Аполлоновна Немилова и Мария Генриховна Делоне; нас было около 10 ребят; помню, одного выставили за шалость; потом я подружился с ним в школе («Цобка»). Мы учились немецкому и французскому и всем предметам. Самое сильное впечатление — приход фининспектора: при каждом звонке мы должны были прятаться под кресла, столы, в шкафы и др. — весело было нам очень. Воспитательницы были хорошие, и учились мы весело.

Запомнилось великое наводнение 23 сентября 1924 года, но первое моё знакомство с водой произошло раньше. В 1923 году мы отцом поехали по железной дороге на месяц. Он работал судебным следователем участка железной дороги Ленинград — Рыбинск.

Мы жили в вагончике (сестры не было) и перемещались по линии между Будогощью и Овинищами. Помню Весьегонск, миленький, провинциальный городок, первый в жизни из виденных мною, с живописными церквями на крутом берегу Мологи, песчаные горы, спадающие к берегу. Впервые природа Средней России открылась передо мной (до этого не удавалась выезжать за город ни разу). Помню, приехали на станцию Кушевера и на следующий день, сделав подобие удочки, пошли ловить рыбу на мост без перил через реку, шириной более 100 метров. Было ещё половодье, тусклый день быстро шёл к вечеру. Отец и я рыбаками не были; скучая, я шёл по одной (крайней) балке и свалился с моста в реку. Помню ощущение неожиданности и интереса; я погружался с открытыми глазами в зелёный странный мир; меня несло быстрой водой из-под моста где-то посредине реки. Я не барахтался (плавать я не умел и никогда не купался) и спокойно лежал в воде (был в лёгком пальтишке), без вдоха, и сразу увидел тёмный предмет — «рыба или папа?» спокойно подумал я и схватил папу за шею. Он был великолепным пловцом (ему было 47 лет, мне — 8), он бросился сразу за мной, увидев, что меня нет, как был, в высоких сапогах. Но положение было отчаянное. Когда он выплыл со мной и достиг берега, оказалось, что берега нет. Была топь, и встать на дно ему не удалось. Людей кругом не было. Спасла какая-то доска, плывущая в тростниках; отец зацепился за неё, и мы долго были по шею в воде, медленно двигаясь; стало уже совсем темно в ледяной воде (первые дни июня); нас подобрал какой-то рыбак — это было вблизи



С1924, с сестрой Наташей

станции. Я спросил папу: «Это какой паровоз свистит?», и был удивлен, что он ничего не ответил. Говорят, что я не был дефективным ребёнком, но какая-то заторможенность во мне была.

На следующий день утром телеграмма от мамы из Ленинграда (вернее Петрограда): «Что случилось — скорее телеграфь!». Потом она рассказывала, что ночью явственно почувствовала, что я умер. А я спокойно спал в своем вагончике, впервые глотнув чаю со спиртом. Не знаю, как спал мой папа.

Мне никогда не приходила в голову мысль, что Бог меня для чего-то сохраняет; я не стал проповедовать слово Божье ни в коем случае, но позже, когда были шансы погибнуть, независимо от моих действий, мне было приятно сознавать, что Бог неплохо ко мне относится в таких случаях. Поразительна брэнность человеческая и поразительна его живучесть!

Возвращаюсь к воде, к наводнению 1924 года. Нас в группе отпустили раньше домой и, переходя 4-ю линию, мы с соседским мальчиком увидели по середине улицы бурный ручей, текущий со стороны Смоленки. Был жуткий ветер. Мы побежали к Неве. Там уже вдоль набережной хлестала вода в сторону моря; до Сфинксов мы не смогли добраться и побежали назад, уже по воде, текущей со всех сторон. Андреевский рынок начало размывать и люди бежали, побросав лотки с товарами. Арбузы поплыли. Мы, уже по пояс в воде, ухватили их в потоке, сколько могли удержать, и доволокли во двор, до лестницы. На полузатопленных ступеньках стоял отец, бледный, как мел и на мой радостный крик: «Папа, смотри, сколько арбузов, тащи домой, все наши!» он ничего не ответил и потащил в квартиру меня. Помню, тут я усомнился в логике отца.

Не стану описывать этот день подробно. Всё было, в общем, так, как в «Медном всаднике», которого я тогда не знал. Это — единственная вещь (из крупных), которую я до сих пор помню наизусть. Её трудно забыть: каждое слово порождает следующее в единственном варианте; только позже я понял это неповторимое единство музыки и смысла.

Стало темно, ветер усилился, в окно было видно, как летают над садом листья, сорванные с крыш и огромные стволы — куски деревьев. Редкие люди шли по горло в воде, многие вдруг исчезали, — проваливались в открывшиеся люки. Управдом сидел на заборе с багром и ловил бревна (перебрасывая их в сад), плывшие в сторону моря. Он собрал много сажень (как тогда называли кубометры), потом продал их, и его арестовали. Меня тогда поразила такая несправедливость. Много позже я понял, что нельзя было допускать, чтобы частные люди могли извлекать деньги из пропадающего имущества!

На следующий день было солнечное, тихое утро. Мы пошли с ребятами со двора (занятий не было) пешком на Смоленское кладбище; там стояли огромные озера воды. Гробы были размыты, и много их было на земле. Мы нашли доски и сев каждый в свой гроб, устроили гонки по воде, не разбираясь, было ли в нем что-либо или нет. Твердо помню, что никаких мыслей о недопустимости такой игры не приходило. Наоборот, мы были по-детски счастливы.

4. Школа

Школа. Прошло 10 лет, осталось 60. Весной 1925 года группу закрыли, и я поступил в 3-ий класс 217 школы.

Опять отвлекусь от канвы рассказа; я снова в Горьковской; гуляю по дороге перед домом. Вечер. Печка топится, но сидеть в комнате ещё холодно. Надо ходить, тренировать ноги. Пишу мысленно:

*Хандра уходит, ноги ходят лучше;
Чуть каплет дождик в сумеречный свет;
Здесь дом родной; здесь хочется, как Тютчев
Писать стихи — семидесяти лет.*

*Осенний день накроет ночи бархат
В печи огонь, горит смолы слеза.
Здесь дом родной. Здесь Вашим духом пахнет
И путь найдут во мгле её глаза!*

Уже в комнате +20, на улице +4. Начался дождь. В комнате тихо, уютно. На стенах картинки, фотографии родных, жены (скончалась 25.09.71 г.), деревянные тарелочки, которые разрисовала тётя Аня, медно-иконное большое изображение мостов Ленинграда — подарок Марианны, приятные лампы. Хорошо. Как много с этим домиком связано!

Состояние моё на сегодня не блестящее. Чувствую ясно — пора уходить с работы, вернее — переходить (без работы мне не прожить) на какую-то другую, полегче. Хочется ещё успеть, хоть немного, продолжить эти записки, — уже легко не пишется, а в будущем — ещё труднее. Пора думать о жизни и смерти; я об этом (вероятно, напрасно) никогда не задумывался, особенно о втором. Никогда сознательно не старался наложить на себя руки (кроме, может быть, отдельных вспышек, мальчишеских, в 20 лет). Интересно, что религия, во многом поощряющая свободу воли, категорически осуждает сознательное право на лишение себя жизни. Думаю, что это правильно, надо испить чашу свою до дна, до конца во всех состояниях жизни. Недаром большие люди России не решались раньше на это, но, когда они чувствовали, что сила противодействия извне начинала преобладать над их светлым действием, когда они чувствовали внутренне, что удалось уже воплотить их великий дар, когда душа начала готовиться отцвести, тогда (как писал Лермонтов о смерти Тамары):

*Улыбка странная застыла,
Скользнувши по её устам.
О многом грустном говорила
Она внимательным глазам.*

*В ней было хладное презренье
Души, готовой отцвести;
Последней мысли выраженье,
Земле беззвучное «прости».*

*Последний отблеск жизни прежней
Она была ещё мертвей,
Ещё для сердца безнадежней
Навек угаснувших очей.*

*Так, в час торжественный заката
Когда, растаяв в море злата
Уж скрылась колесница дня,
Верха Кавказа на мгновенье
Сверкают в тёмном удаленьи,
Отлив пурпурный сохраняя.*

*Но этот луч полуживой
В пустыне отблеска не встретит
И путь ничей он не осветит,
С своей вершины ледяной».*

Не знаю, есть ли в мировой поэзии что-нибудь более величественное, более великое, чем этот рассказ о последней минуте жизни, зарождении смерти.

Что было делать тем, чья душа готовилась. Они следовали запрету веры и искали решения судьбы — в бою (получая за храбрость золотое оружие), на дуэли, в схватке с дикой толпой. Но в двадцатом веке, когда запрет был забыт, когда не было ни боев, ни дуэлей, ни ненависти толпы, которая не убивала открыто, что оставалось делать Есенину, Маяковскому? Правда, появилась фатальная сила, устранявшая из жизни не всех, но люди с искрой — исчезали. Не надо напрашиваться на смерть, но не надо напрягать все свои силы, чтобы её избежать.

Но надо вернуться, чтобы не утомлять читателя (если он найдётся) к линии записок. В школе при построении, на уроке физкультуры, я был самым маленький, последний. Это было для меня одно из важнейших огорчений в жизни. Меня лупцевала компания второгодников; чётко запомнил лицо и имя одного из них — Шевченко (позже я с ним не встречался). В высоком зале школы на переменах сталкивались часто высокие четырёх- и шестиярусные пирамиды, на руках друг у друга, «слона водили» и я сверху (самый лёгкий) падал на пол под груду тел.

Раньше наша школа была гимназией Мая, где директор школы немец Май, говорят, пожимал руку каждому входящему первокласснику. Из стен её вышли многие крупные люди: Глазунов, Рерих, Семёнов-Тянь-Шаньский и многие другие.

Но, падая вниз с пирамид на переменах и оказываясь под грудой тел, мне было душно и тяжело. Ребята, как я понял позже, были хорошие, и ненависти к себе я не ощущал. Но всё это привело к неблагоприятным поступкам с моей стороны.

Осенью 1925 года я слегка заболел животом и услышал слова врача, обращенные к моим родителям: «Может быть у него аппендицит». Я начал читать медицинский справочник и быстро усвоил все симптомы; я симулировал (живот давно прошёл) со знанием дела и вылежал около полугода, не ходя в неприятную для меня школу. Подготовка у меня была неплохой, и ничего не случилось. Бой часов в комнате, где мы с отцом спали (и сейчас эти часы бьют над моей головой — хорошие швейцарские часы на рубиновых камнях, с точностью хода ± 1 минута в неделю) не будил меня по утрам, и я лодырничал. За это время я прочитал всего Чехова от корки до корки — 20 томов — с большим удовольствием и научился играть в шахматы.

Была эпоха знаменитого I Международного (первого в СССР) турнира, где наши шахматисты, во главе с Боголюбовым — чемпионом СССР, впервые скрестили оружие с мировыми корифеями — чемпионом мира Хозе Раулем Капабланкой, Эммануилом Ласкером (экс-чемпион) и другими. Помню всеобщее ликование, когда первое место занял Боголюбов! Мы жадно слушали по радио известия о турнире и играли с отцом. Тогда были маленькие



1925

приёмники с иглой на кристалле; она всегда в самый нужный момент соскакивала, и звук исчезал. Позже я много лет играл в шахматы; играл в турнирах, дошёл до I-ой категории. Могу сказать, что это — удивительная область творчества, чистого искусства; и не раз, изучая партии великого Алехина и других крупнейших мастеров, я испытывал не меньшее наслаждение, чем от игры на рояле, скрипке или в Филармонии от симфонической музыки. Ласкер писал, что из всех видов деятельности шахматы обладают наименьшим коэффициентом полезного действия. Но я не жалею, что много времени в жизни отдал шахматам — и самой игре, и разбору партий и ведению таблиц соревнований (ещё до сих пор аккуратно веду таблицы!). Очень много дают шахматы — и сердцу, и уму, и воле. После проигрыша партии в турнире — и бессонная ночь, когда фигуры и пешки одолевают тебя, и «Почему так не пошёл?». Они учат проигрывать, воспитывают сознание, что есть другие сильнее тебя. Это, может быть, лучший путь самовоспитания. А зато — какое высокое наслаждение — если удалось осуществить!

Помню, я узнал, что на лестнице, где живут мои тётки, на той же площадке жил Пётр Арсеньевич Романовский. Это было потрясающее открытие! Я понимал уже тогда, в 10 лет, что он был выдающимся шахматистом, учителем всей нашей молодежи, принципиальным, предельно честным человеком. Но тогда я не мог поверить, что он был обычный смертный. Для меня он был больше, чем полубогом; я боялся встретить его на лестнице (фото я знал), и когда тётя Оля говорила, что приходила его лечить (она была коммунальным врачом), я не верил, что это возможно. Блестящие партии ему удавалось создать в остро-комбинационном стиле (он был вторым из наших шахматистов на I Международном турнире, разделив с Рети 7-ой приз). Сейчас, когда идет матч на первенство мира и Каспаров выигрывает ($+ 4 - 2 = 13$), я надеюсь, сбудется его мечта стать чемпионом мира. Вспоминаю призыв Романовского — «отдать пешку за инициативу» — Алехинская идея, осуществляемая Каспаровым блестяще. (Романовский говорил, что Алехин себя называл всегда Алехиным, а не Алёхиным.)

Позже я познакомился со своим кумиром, был у него даже дома в гостях с компанией моих друзей, игравших с ним в винт (перед войной). Потом он пережил войну, вся семья его — жена и дети — погибли; его в тяжелом состоянии вывезли из Ленинграда (много позже образовалась новая семья). До конца дней он был предан шахматам беззаветно, и очень многие поминают его добром всегда. В прошлом году я прочел письма П.А., адресованные своему

ученику Володе Заку — моему другу; сколько в них хороших мыслей, благородных чувств!

Очень медленно движется мой рассказ, хотя и стараюсь ограничиваться только фактической стороной, исключая осмысления, эмоции, попытки литературной обработки. Тетрадь подходит к концу, а ничего не написано.

В эти годы сильно действовали на меня ссоры между родителями. Вечерами они крупно ссорились в ванной, откуда дверь выходила в комнату, где я спал. Квартира к этому времени стала уже коммунальной, но жильцов было ещё немного; Наташа — ей было 19 лет — жила в отдельной комнате в конце коридора. Причина ссоры родителей была как-то связана с ревностью, недаром мама и читала, и помногу раз ходила на спектакль «Маскарад» Лермонтова в Александринский театр с Юрьевым, в блестящей постановке Мейерхольда. Но к этому времени ревность уже меняла направление; ничего не знаю об этом (было мне 10 лет) и уже ничего не узнаю.

Мой отец в молодости, до революции был светским кавалером, королем винта и вальса (со слов тётки Ани), всегда в компании, потом резко изменился. Компания как-то распалась, он мало встречался с людьми, работа следователя порождала в нем подозрительность (как говорила мама); в семейной жизни он как-то не находил радостей и интересов. Мама занималась детьми и хозяйством, жили мы более чем скромно. Сестра поступила учиться в Институт истории театра, что раздражало

отца, так как не сулила реальной профессии, никаких материальных перспектив. Все вечера она проводила с подружкой, при свете лампочки под красным абажуром, читая исторические и театральные книги и конспекты, обсуждая театральную жизнь. Увлечений любовных, насколько я знал, у них не было. Словом, это был замкнутый, отдельный от семьи и от жизни мир.

Мой дядя, брат мамы, Жорж окончил морской корпус, был артиллеристом, потом, перед революцией — капитаном миноносца. В гражданскую войну, когда матросы уничтожали офицеров, известных своей жестокостью (знаю по рассказам дяди), дядя был из немногих, кого сами матросы защитили от расправы, оставили в качестве красного командира корабля на время гражданской войны в Кронштадте, а потом где-то на юге. Потом он вышел в отставку (он совсем оглох, от стрельбы лопнули барабанные перепонки) и стал работать инженером на заводе. Он вернулся в Ленинград с семьей — двое детей, Толя и Зоя, немного старше меня, жена Любовь Ильинична — дочь какого-то мелкопоместного помещика из южнорусских мест. Они остановились у нас дома, прожили около месяца (в начале 20-х годов), а потом поселились в Гавани, на Большом проспекте. Там была особая провинциальная жизнь, другого уровня, чем в начале Васильевского острова, где мы жили. В Гавани все население сидело вечерами сообща во дворе, с бесконечными разговорами и непрерывным лузганьем семечек. Лузги за неделю (подметали по субботам) набиралось целые горы. До сих пор не могу видеть и грызть семечки.



1925

Мой отец серьёзно увлекся женой дяди Жоржа и много лет проводил все вечера в её доме. Дядя был очень тихий, глухой человек, занимался после работы только рыбами, беззвучно скользившими с переливающимися огоньками в сотнях аквариумов, занимавших всю стену от пола до потолка. Он жил один в беззвучном мире, в переплете деревянных труб, которые он прилежно мастерил, для подогрева тёплым воздухом. На полу стояла керосинка, и мне казалось, что всё это когда-нибудь загорится. Но этого не случилось. В тридцатых дядю посадили как белого офицера, (то, что его любили матросы — никого не волновало), и он исчез навсегда. Потом тётя Люба умерла в блокаду, Толя перед этим пошёл по следам отца и исчез. Зою я нашёл после войны, вернее, её адрес, но самой не нашёл и никогда больше не видел. Так кончилась эта семья.

Тетя Люба была худощавая, с неправильными чертами лица, с яркими и тёмными глазами; но взгляд привлекала её смуглая, цыганская, чуть раскосая красота. Фото не осталось. Дядя внимания на всё это не обращал, с отцом моим у них были хорошие отношения всё время. Не знаю, что привязывало отца и тётю Любу друг к другу? Из обрывков громких выкриков я слышал, что отец клялся матери, что физической близости между ними нет, и я верил этому, и теперь верю, и был как-то на стороне отца в этом мучительном конфликте на многие годы.

В результате я оказался заброшенным и предоставленным полностью сам себе. Помогать делать уроки мне было не нужно; идя из школы мимо рынка, я засматривался на всякие «чудеса» XX века, на лотошников, где можно было за копейку выстрелить из пистолетика во вращающийся круг с секторами и либо выиграть несколько копеек или конфет, либо проиграть её. Был там калека с морской свинкой на ящике, где лежали свернутые пакетики. У него всегда была толпа. Получив пятак, он говорил свинке: «А ну, Мария Ивановна, найди людям счастье», и она медленно шествовала по ящику, пока не вытаскивала зубами пакетик, либо с колечком, либо с сережками, даже с часами, чаще — пустышку. Я познакомился с сыном этого калеки — Гошкой, и мы с ним устраивали «за мелкое вознаграждение» — «марафет». Кто-то из нас подходил с пятаком в руке, и Мария Ивановна неизменно вытягивала ему часы или кольцо, после чего, показав выигрыш, скромно уходил. Потом выигрыш отдавал хозяину. (Вероятно, в этих пакетиках для Марии Ивановны был другой запах.) Толпа нарастала.

Не обсуждаю здесь моральную сторону; она очевидна. Но это — было, и воспоминания

живут с раннего детства. В это время на рынке выступала компания цыган с тремя медведями; прибаутки, шуточки; медведи даже обходили толпу с шапкой, где попадались и серебряные монетки. Цыгане жили в доме № 21 по 4-ой линии. Заброшенный шикарный дом с высокими окнами превратили в цыганский табор. Мы с Гошкой имели доступ туда. На великолепном паркетном полу ярко пылал костер, все лежали на полу по кругу, цыганки пели, мужчины исполняли хор, мы гладили лежавших рядом медведей, было шумно, весело, ярко; вина не было. Часто я бывал в этой компании и запомнил, как волшебное незабываемое моё впечатление детства, сказочный мир, мой театр. Не случайно поэтому, что в школе мы продавали товарищам (может быть это в 5-ом классе) шипучку, которую делали сами — Левка Степанов, Валерка Рейхсфельд и я, покупая в аптеке Пеля (угол 7 линии и Большого проспекта) лимонную кислоту и соду двууглекислую. Получалась хорошая шипучка. Помню, нас потом долго осуждали за эту торговлю, но что поделать, что было, то было!

Приходит к концу октябрь, самый страшный месяц для гипертоников. Циклоны. За окном первый снег. Пишу о детских годах, показывая, что рос я ребёнком заброшенным или, точнее сказать, предоставленным самому себе. Родители меня любили; правда, в семье не были приняты поцелуи, нежные слова, как-то подразумевалось, что это лишнее, подарков почти не было (в принятом смысле материальной ценности), но родители и дети охотно чем-то жертвовали, может быть и малым, но заметным для внимательного глаза. Никого друзей в то время у меня не было. Я проводил время в каких-то неясных ленивых фантазиях, иногда смутно прикасаясь к тому волшебному, иному миру, который грезится, наверное, каждому, как неведомая дорога в мир. Это бывает в ранней юности. Молодость кончается, когда поймешь, что это будет реальный жизненный путь, а того, виденного в дымке, точно того, уже не будет никогда. Так, условно как бы умираешь. Со мной это случилось примерно четверть века назад, и кривая долго шла по плато, может, год назад кончилась. Знаю, что есть люди, одаренные свыше, с блаженным незнанием будущего своего. Я, к сожалению, не из их числа. И вот плато начинает снижаться с нарастающей крутизной, первой исчезает уверенность в своих действиях, потом исчезает способность к этим действиям, казавшимся стереотипными. Всё труднее решиться сделать любой обыкновенный жест рукой или ногой или написать любую бумажку и все-таки, пусть с неизмеримыми усилиями, решаешься и делаешь — особенно на людях — чтобы не видно было, что отстаешь от темпа жизни, хотя внутренне ясно сознаешь своё

отставание. И это стремление всех сил кончается. Сразу видно, что поздно. Не стоит об этом писать дальше...

К концу пятого класса я постепенно вошёл в круг ребят, ставших потом лучшими школьными друзьями моими. Практически нас сблизили шахматы, я стал чемпионом класса, выиграв матч у сильнейших: Егора Петрашень, Валерки и других. Очень много дала мне, как и другим, наша 217 школа. В ней сохранился блестящий состав учителей: наша класная руководительница, Мария Александровна Гульбина, рано умершая, которую мы любили беззаветной юношеской любовью, учитель литературы (и директор) Вениамин Аполлонович Краснов (племянник генерала Краснова – не того, известного, но и этого было достаточно, чтобы судьба его стала трудной); он зародил в наших душах любовь на всю жизнь к русской поэзии; он вбегал на урок в крылатке, с трепещущей курчавой бородкой, с горящими глазами и вдохновенно читал стихи; особенно произвел впечатление «Медный Всадник», и я почувствовал, что Пушкин прошёл один этот чудный путь от романтики, через реализм к символизму – всё будущее наше он предчувствовал. Помню, как В.А. рассказывал, что бывают дни, вернее ночи, когда лунная тень от Исаакия падает на камень (была она на следующий год после 1824-го) и видно, как под луной летит Всадник Медный, на звонко скачущем коне. Может быть потому, что я принял крещение в водной стихии или потому, что я видел через 100 лет новое бедствие и торжество стихии, но этот рассказ за всю мою жизнь не изгладился, и память его хранит. Много было у нас педагогов неповторимых, им, прежде всего, хочется сказать, великое спасибо! Не случайно, что нас настолько сплотила школа, что и сейчас мы собираемся каждый год вместе, раз в год, человек 10-12 (из которых больше половины докторов наук и выше) и вспоминаем с радостью и благодарностью ушедших из жизни близких нам, так, как нам кажется, что они воспринимают наше к ним обращение.

Я получал пятёрки по сочинению, по алгебре, тройки по геометрии, двойки по пению и рисованию; это было уже позже, в 7-ом классе, но так и повелось. Я хорошо вошёл в любимый мною круг. В 7-ом, когда уже были большие шалости и невинные романы, я написал трагикомедию плохими стихами, с подражанием лермонтовскому «Маскараду»; не помню ни одной строки, но у моего друга, Лёвки Степанова, она сохранилась, и пару лет тому назад он нам её «зачитывал», к вящему нашему удовольствию!

Если надо решать – идти на работу или нет, надо постараться пойти, особенно когда понимаешь, что, может быть, лучше уже не станет.

Не раз в жизни я думал, что «умру не на постели, при священнике и враче, а в какой-нибудь дикой щели...» (Н. Гумилев), а теперь не исключаю, что и такой вариант возможен.

*Портрет, подсвечник, звяканье ключей,
Блажен, кто умер на своей постели,
Среди привычных сердцу мелочей;
Они с тобой как будто отлетели,*

*Они – твои, хоть ты уже ничей...
Портрет, подсвечник, звяканье ключей,
И запах щей и аромат свечей
И голоса в прихожей – в самом деле!*

(Булат Окуджава)

В 7-ом классе мы начали, примерно два в неделю, «смываться» с уроков, брали футбольный мяч и четвертинку водки и втроем-вчетвером (Валерка, Славка Коровников, «Цобка» – Борька Цуканов, я) ехали за ж/д мост на Неве, переезжали на пароме через Неву солнечным весенним утром, к Киновьевскому монастырю, оттуда шли километра 2 к речке Оккервиль (эта речка, с шведским названием, теперь вошла в черту города, теперь там высотные дома), там мы радовались весенним просторам, «кикали» мячом около деревни, подвергались атакам свирепых стад деревенских гусей, купались в речке, выпивали чекушку и ни о чём не думали.

У Цобки был близкий друг, Вадим Шефнер – они близко жили. Тогда он ещё не был выдающимся поэтом, мы часто сидели втроем на диване у Цобки. Вадим тогда ходил на танцуйки с большим патефоном.

Сейчас я слушал по радио творческий вечер Вадима Шефнера. Он сам читал свои стихи. Ухватил в памяти:

*Очищайте забываньем
Закрома души своей,
Чтобы хлеб воспоминаний
Не горчил на склоне дней.*

(В. Шефнер)

Хорошо. В прошлом году мы встретились. Вспомнили Цобку – он погиб в конце 1941 года от голода. Хороший человек – Вадим! Как хорошо, что он жив и по-хорошему жив, не стал карьеристом, подонком, прихлебателем.

В классе возникали уже пары нежной дружбы, начала романов. В них я как-то совсем не участвовал, только может быть – ироническими замечаниями. Девочки были очень хорошие, никаких признаков распутства не замечалось. Стоит перечислить нашу компанию: Наташа Гамалей, Стана Семёнова-Тянь-Шанская, Алена Вандерфлит, Таня Никифоровская, Вероника Шевелева, Нина Барсукова, Катя Ефимова, Коля Алексеев, Валерка Рейхсфельд, Лева Степанов, Егор Петрашень, Вася Наливкин, Дима Никитин и я. К этой компании примыкали Миша Медведев, Туся Карасик, Аля Строганова и другие.

В конце 7-го класса начался разгром нашей школы (1929 год); традиции её, конечно, не соответствовали духу времени. Любимых наших учителей «ушли», заменили новыми, невысокого уровня, что было сильно заметно даже нам.

Чем старше становишься, тем более заметно различие в собственном состоянии после встречи с человеком. А со многими и самыми разными приходится в жизни встречаться, по-деловому и по личному, и это всегда радует, что со многими соприкоснешься. Есть люди, многие из них очень неплохие, от встречи с которыми остается сильное напряжение, возбуждение какое-то. А бывает и наоборот. Иногда, где-то на улице встретишь пьяного, которому хочется поговорить «по душе», и делается настроение получше. Вот, например, Василий Степанович, дальний родственник жены, у которого я жил два лета в Карелии; хорошо потолковать о том, о сём. Моя главная ученица, Марианна Сидорова (Сидор – имя от Изиды, древней египетской богини); она лечит душу и когда сердится на меня (часто за многие годы) – это не угнетает и я, первой мыслью – что это пройдёт и будет лучше потом, и возьмёт меня осторожно под руку при переходе в метро и прочем транспорте. Потом, пережив это с болью, почти всегда убеждаешься, что она права. Стараюсь, правда, не всегда говорить это (в целях воспитательных), но это – «так»; хорошо, что моё плохое нутро вижу не только я один. Я давно люблю всё её семейство, и мужа, и дочек, они близки мне. Надеюсь, что с ней мне удастся в будущем найти слова, радостные слова; это не легко, в ней есть что-то, чего нельзя понять умом, ни постигнуть сердцем. Это магия (ни белая, ни чёрная). Это высокое, высшее колдовство. В ней что-то есть от Клеопатры?! (такой знак?! ставил в своих «Избранных партиях» Александр Алехин). Но хватит об этом.

Вспоминая школьных друзей, нельзя не сказать два слова об Алёне, с которой иногда встречаюсь, больше по телефону. С ней после

разговора тоже наступает душевное успокоение. Она – правнучка (прямая) декабриста Ивашева и Камиллы Ле-Дантю, смело бросившей вихри света за глухую Сибирь (умерли оба там – молодые). Алёна была в 1935 году выслана в Казахстан, где встретила и вышла замуж, тоже за сосланного. Фамилия его Пини; случайно выяснилось, что я запомнил эту итальянскую фамилию. Мама рассказывала, что Саша Пини, брат отца мужа Алёны, делал ей предложение, но мой отец, угрожая пистолетом (он был юрист) хотел выстрелить, конечно, в себя. Отец Алёны из голландцев, я показывал ей старинную Библию 1737 года, на которой стояло имя моего предка. Муж Алёны умер года два тому назад (он работал в Пушкинском Доме), и сейчас она не может в себя прийти от горя.

Так вот, наш 7-ой класс, как тогда говорили, раскисировали; как будто было за что: Валерка испортил аналитические весы в школьном химическом кабинете (конечно, не нарочно). Мы в нашем классе прыгали через стол, как через козла и выбили в полу глубокую яму. Потом пришла мысль кому-то из нас, накрыть эту яму веточками и сверху – паркетом (уже не нечаянно, вероятно, в ответ на изгнание наших учителей!). Мы предупреждали наших учителей (кого мы любили), что там яма, надеясь поймать



1929

в эту яму нового директора. Короче говоря, класс раскассировали и часть учеников, в том числе меня, перевели в 213 школу (бывшее реальное училище), где я проучился 8 и 9 классы — была тогда девятилетка. Там были неплохие товарищи и учителя, но того, хорошего в новой школе мы не нашли, может быть, просто старше стали. Вспоминаю за эти годы, в основном, знакомство с городом, путешествия на «колбасе». Мы решили в 9-ом классе проехать по всем линиям трамваев и прекратили это только тогда, когда все пути были прочерчены на нашем плане Ленинграда зелёным карандашом (которым отмечали «проложенный» путь). Мы кончили эти путешествия и больше не катались, но воспоминания сохранились до сего дня.

«Колбаса» в то время была устроена так: сзади последнего вагона. Дверцы площадок на улице были открыты, вернее их не было. Валерка помещался на «колбасе», то есть в середине, Колька слева, на шариках, над карнизом узким, по краю вагона у площадки, я справа (если смотреть сзади), тоже на шариках, со стороны трамвайных столбов, стоявших вдоль, между путей. На каждой остановке мы соскакивали, а потом, когда трамвай набирал ход, мы почти на полном ходу вскакивали на свои места, и — до следующей остановки.

Удивительно, что ни разу не удалось нас поймать ни милиционеру, ни кондуктору прицепного вагона. Мы проехали за 3 недели все маршруты. Какую радость доставляли нам эти поездки под острым ветром и в дождь! В это время закончили новый маршрут от Автово до самой Стрельны (~ 15 км); ещё мостовой под рельсами не было, только шпалы, с железными перетяжками между рельсов, скорость хода по этой линии была повышенной — до 25 км/час и свалиться на этом пути означало бы неминуемую гибель. А нам это нравилось, сознание этого. Нас тянуло, в неосознанном мальчишеском, пятнадцатилетнем порыве (за незнанием лучшего применения) на смертельный, может быть, риск. Но город наш стал сразу знакомым и близким, родным.

Вот и кончилась школа; мне ещё не было в начале июня 1931 года шестнадцати лет. Надо думать о будущем. Хотелось в ВУЗ, как и моим друзьям, но никакого призвания во мне не обнаруживалось! Может быть, какое-то самолюбие или школьная закладка будила иногда фантазии (смутные), но, в общем, я оставался ребёнком, и ничего серьёзного меня не влекло.



~ 1930

5. Работа

Так я закончил школу-девятилетку и подал документы на биофак Ленинградского университета. Но документов не приняли, мне не было ещё 16 лет весной 1931 года и никаких «плюсов» у меня не было — сын служащего, не комсомолец. Надо было думать о жизни. Жили мы неважно, — масло покупать редко удавалось, сыр и колбасу — только по праздникам. Отец в это время ушёл с работы — он был следователем военного трибунала Ленинградского Военного округа. Он говорил тогда, что молодёжи выучил немало, но сейчас начались новые методы дознания, которые его не устраивают. Тогда я не понимал его слов, эта тема меня не интересовала. Отношения с мамой у него оставались такие же. Он демобилизовался (мотивируя тем, что у него один глаз) и поступил работать счетоводом на 4 мебельную фабрику на Васильевском острове. Там, в конторе, была машинка, и он подрабатывал печатаньем (сестра училась в Институте истории искусств и стипендии ей не платили). Отец вечерами печатал, иногда бывал у тётки Любы; иногда отец раз в неделю играл в винт (по очереди), то есть раз в месяц у нас — дядя Котя, дядя Эрнст, Саня Линдес и двое их приятелей. Играли быстро, ни звука до сноса последней карты, только потом короткие очень, но яростные споры, 4 роббера. Помню, как ещё ребёнком (1925 год) отец повел меня на винт к Анатолию Фёдоровичу Кони, у которого был внук моих лет. Огромное впечатление произвел на меня, за самоваром у стола, этот патриарх. Я уже тогда знал, что он, будучи обер-прокурором Синода, добился оправдания Веры Засулич и чувствовал гордость за него — друга Тургенева и Савиной.

Я поступил работать в Институт организации и охраны труда; руководил институтом профессор Иоффе, разработавший новый метод рационализации производства в бригаде; все движения оценивались во времени (помню, что движение пальцем — 5 миллисекунд, рукой — 20 мс и т.д., с поправками на точность, пластичность и т.д.). Мы строили длинные схемы бригадных процессов и планировали, распределяли нагрузку на членов бригады. Мне нравилась эта работа по нахождению оптимальных вариантов; и сейчас, в поисках повышения интенсивности, она пригодилась бы неплохо.

Институт находился на Гагаринской улице, 3, близ Невы, в красивом особняке бывшей княгини Юрьевской, неофициальной жены Александра II. Говорили, что был подземный ход туда из Михайловского замка под Фонтанкой, по которому ходил царь (я видел конец этого хода, он был закрыт).

Мне поручили общественную работу — ликвидацию неграмотности на крейсере «Аврора». Легендарный крейсер стоял тогда близко от нашего дома — на Неве, против 9-ой линии В.О. Я был очень доволен и горд этим поручением, готовился к занятиям, ни разу не пропустил их. Половина матросов «Авроры» были неграмотными. После занятий кормили меня флотской жирной бараниной с гречневой кашей, иногда давали по чарке водки. В кубрике было тепло, уютно, питание было явно нелишним, ибо в 16 лет аппетит был не малым. Помню вечер 15-летия Октябрьской революции. Очень торжественно. Меня пригласили в кают-компанию, крахмальные салфетки на белоснежной скатерти, при входе — почарке водки. Обед такой, что я никогда таких деликатесов не пробовал. Важные гости. За столом сидел Михаил Тухачевский. Блестящий, барственный, породистый, обаятельный. Помню, после обеда, как он великолепно вальсировал с высокомерным лицом и горделивой осанкой. Никто не знал тогда, что его жизнь через несколько лет трагически оборвется по клеветническому навету, и он ляжет где-то в безвестной яме. Его облик был настолько ярким, что сейчас, в дни 68-ой годовщины, я вспоминаю образ его до малейших оттенков. Сейчас он посмертно реабилитирован, и на доме, где он жил на ул. Халтурина, повесили памятную доску «Выдающемуся полководцу М. Н. Тухачевскому».

Осенью 1932 года я опять предпринял попытку поступать — на этот раз — в Горный институт, хотелось дорог и гор. Забыл написать, что отец мой перед работой счетовода был года два на должности зам. административно-хозяйственного сектора во ВСЕГЕИ (раньше называлось ЦНИГРИ — Центральный научно-исследовательский Геолого-разведочный Институт).

Я сдавал экзамены, но меня опять не приняли, хотя оценки были проходные, может быть, отказ был как-то связан с работой отца. Тогда, в 17 лет, я ещё не привык к несправедливости судьбы, и мне было очень обидно и горько.

В конце 1932 года Институт наш разогнали, объявив это направление формалистским или как-то ещё похуже. Я устроился работать на завод «Красный Путиловец» (теперь Кировский завод) техником-исследователем на самой маленькой ставке. Начальник мой, Розенберг, был неумным и мало культурным человеком. Он подписывал мои кальки вместо меня и получал премии за рационализацию, что меня тогда задевало. Было обидно. Я работал в чугунно-литейном цехе

по составлению графика бригады из 6 человек по сборке блока двигателя картера комбайна. На следующий год я почувствовал себя хуже, ходить каждый день через Волынкину деревню пешком было уже трудно, в цеху каждый день и целый день дышал острым и едким запахом формовочной земли; к концу 2-х с лишним лет работы там у меня нашли туберкулёз I степени. Очень огорчала меня перспектива разрушения лёгких. Я начал в то время регулярно курить, не знаю, — помогло это мне или нет? Помню ночные смены, плывущий конвейер с опоками, вагранки с текущей, тяжёлой и яркой струёй расплавленного металла.

В это время в церквах снимали колокола и выплавляли из них серебро (в колокольном металле — 20% серебра, 80% меди). Сейчас в некоторых церквах появились колокола новые, думаю, что там едва ли серебро есть; колокольный звон, который я запомнил с детства, был иным. Переплавляли где-то в другом цехе, а у нас — серебро с примесью меди выплавляли в изложницы ночью. Охрана была и в цехе, и везде, где надо и не надо (чтобы кусочки серебра не потерялись!). При выходе обыскивали. Помню, как ночью сверкающая серебристо-голубая струя выливалась из вагранки в изложницы, какая чистота была наведена в цехе. Этот ослепительный свет расплавленного серебра так и горит сейчас в моих глазах!



1931

Большое впечатление произвели приезд, приходы в цех Сергея Мироновича Кирова. Он был всеобщим любимцем, в нём видели будущего вождя народа. Он ходил в цеху без всякой охраны, говорил с рабочими запросто и в то же время строго; я видел его вблизи, через станок, где было рабочее место. Очень хорошее лицо. Прямой взгляд, пристальный, твёрдый, волевой. Критически он видел все недостатки и неполадки, знал все детали рабочей обстановки; неторопливо делал замечания, иногда хвалил. Обаятельность его облика покоряла. Хотелось писать с него картину тут же, если бы у меня было хоть чуть-чуть к этому способностей! Как его любили все, это прямо чувствовалось непосредственно. Злодейское его убийство принесло искреннее глубокое горе. Сохранился прах его и да будет мир его праху!

*Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить...
И глядь — как раз — умрём.*

*На свете счастья нет, но есть покой и воля,
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.*

Стоит подольше вчитаться в это чудное стихотворенье Пушкина (1834), чтобы насладится уравновешенной гармонией смысла и чувства дивных строк! Поздняя чёрная осень, но уже проскакивают искорки белого снега. Мой трёхлетний брат Юрочка всё время повторял: «Хочу весну!» (он умер в апреле).

На днях произошло, наконец, долгожданное событие. Карпов уступил Каспарову корону чемпиона мира по шахматам. Гениальность победила безукоризненное мастерство. Новый, 13-й, чемпион мира 22-летний бакинец — новое явление в шахматах — как Алехин, как Таль; этим всё сказано, — ничейная смерть по-прежнему бессильна.

Продолжаю записки. Осенью 1933 года я собрался поступать третий раз в ВУЗ — на этот раз в вечерний филиал Металлургического института при заводе «Красный Путиловец». Экзамены сдал, по-прежнему готовясь к ним в тени берёз старого Смоленского кладбища, где похоронены мои дед (по матери) и бабка Анна Ивановна. Там была могила Александра Блока и его матери. Всегда там лежали свежие цветы (потом его прах перенесли в Александровскую Лавру). Я был зачислен на это вечернее отделение (на дневное я не пробовал, т.к. в семье денег не хватало). Но радость была непродолжительна; оказалось, что это

была афера — какие-то дельцы похитили выделенные на это деньги и исчезли неведомо куда. Потом их поймали, судили, но мне от этого легче не стало. Я решил расстаться с мыслью о ВУЗе, продолжал работать в цеху, постепенно наживая туберкулёз, и жизни не радовался. Достал «халтуру» на выходные дни и вечера у профессора Бориса Петровича Вейнберга — сына известного поэта и переводчика. Он был физик, тогда уже пожилой (~ 70 лет), известный тем, что изобрёл метод измерения поверхностного натяжения жидкости по весу падающей капли (сталагмометр), ставший потом классическим (Борис Петрович потом умер от голода во время блокады). Он давал мне карточки и книги, с которых я должен был списывать все данные о магнитных склонениях в разных точках земного шара, полученные в различных экспедициях и на наземных станциях. Исписал я около сотни тысяч карточек — материал для будущей книги, которую потом никогда не увидел. Плата была — скромная, но поддерживала.

Мои школьные друзья — Валерка, Лёвка, Колька, Мишка Медведев и другие уже учились в ВУЗах. В это время я каждый вечер проводил в радушной гостеприимной семье Медведевых, живших на 6-ой линии В.О. Там было трое братьев и сестра Нина. Старший брат Женя кончал ВУЗ, средний, Миша, учился в одном классе со мной, Коля на класс ниже, Нина кончала школу. Собиралось много ребят, подружки Нины, её двоюродная сестра Галя Кошелева и её брат — играли, ставили шарады, устраивали представление с костюмами (помню «Бежин Луг» — вероятно, в 7-ом классе и другие). Позже — рояль, танцы, песни, ухаживания. Это уже 1933 год и последующие. Об этой семье, об этом доме хочется сказать подробнее, потому что в течение ряда лет он стал родным домом для меня; у меня не было плохих отношений со своей семьей, но все в ней были погружены в собственные мучительные проблемы, и мне хотелось в это время какого-то выхода во вне. Почти все вечера я проводил в этой семье, как и многие друзья, и часто мы с утра говорили: «Ну ладно, вечером пойдем к Медведевым, там поговорим» не задумываясь о том, что, может быть, изрядно надоели хозяевам. Но вся семья, включая родителей, была в высшей степени радушной; мы воспитывались в этом доме. Отец — Михаил Михайлович — был бухгалтером. Жили они небогато; никаких тенденций к роскоши не проявлялось. Мать — Любовь Петровна, много лет была учительницей в гимназии, после замужества стала домохозяйкой. Трое сыновей. Старший — Женя, в это время кончал Институт (электротехнический), подавал большие надежды. Его рассказы мы, слушали, открыв рот; разница в 5-6 лет делала его нашим кумиром.

Осенью 1933 года вернулся в Ленинград ледокол «Красин», спасавший на севере экспедицию Нобиле. Его встречать собралась большая толпа на набережной Невы, против Киевского Подворья, где ограждений не было. Из толпы в воду ледяную (были Ноябрьские праздники) упал человек между ледоколом и берегом. Все оцепенели. Женька — великолепный пловец — бросился сразу в воду, вытащил его и спас. После этого Женька заболел воспалением почек и вскоре умер к великому горю семьи.

Вспоминаю несколько строк из первых моих попыток писать стихи — это событие меня потрясло.

*Последний раз
Мы в шахматы играли,
Ты мне давал
Чуть горький шоколад.*

*В гостиной кто-то
Плакал на рояле,
Слезой блаженной
Траурных сонат.*

*Забывать нельзя;
А все живут, как жили,
И каждый год
Весною тает снег.*

*О, если б можно
Мёртвому в могиле
Увидеть мир
Хоть в мимолётном сне!*

Здесь же хочется привести мои более поздние стихи, датированные 1935 годом.

Прогулки по городу

*Сегодня небо — купрум це о три
Нежней, чем колокольчики Кавказа...
Кресты горят... и не охватишь глазом
Прозрачность улиц в зеркале витрин.*

*Сегодня год... придется отдохнуть;
Но не забыть, не выжечь эту дату;
И разговор и «Лунную сонату»,
Когда я стал на этот странный путь*

*Она прошла, задев своим крылом
Мой тайный мир, спокойная, как прежде,
Уже давно; в своей стальной одежде
Все также тупо смотрит старый дом.*

*Промчались дни червонцами в трактирах,
А всё в мозгу не сорван календарь.
Как будто мне неграмотный почтарь
Принес письмо из вымершего мира...*

И пожалев, что не туда попал,
(Наверно Вертер — этажом повыше)
Пошёл наверх, звонить до самой крыши,
Где у котов сегодня первый бал.

Да, про котов; их бал не анекдот,
Сегодня ж март; совсем на крышах сухо...
.....
.....

Там Николай (он дремлет до сих пор
Чугунным сном), дрожал, живой когда-то.
От звона шпаг на площади Сената
Вставали волосы и портили пробор.

Все сорвалось; он пойман; просинь льдин
И комкает рука вонючий край окурка...
Но до сих пор в ушах поёт мазурка,
Молчит карэ и стонет равелин.

Все сорвалось; над смертным рандеву
Кровав рассвет и тело человека...
Нет, ухожу назад, на четверть века
От этих грёз, за тёмную Неву.

Чуть скрипнет снег под полозом саней
И тонет звук, далёкий и неверный...
Под лунной вьюгой замок Инженерный
Лежит холодным гробом без огней.

Он целовал упрямые виски,
Зелёный свет так тихо льётся в спальной,
Её глаза тревожней и печальней,
Горят тяжёлым заревом тоски.

Анюта¹, милая, сегодня страшно мне...
Венец и власть — противное наследство...
Я, может быть, случайно вспомнил детство,
Прильнув к твоей горячей голове...

Он — император всё же. Он живет...
Одна лишь ночь, а завтра — сын в опале;
Пусть рот скривит всегда бесстрастный Пален
Поморщится, услыша эшафот.

В колоде карт не видно короля,
Он уходил, гремя по коридорам...
В саду — шаги; проснувшись, вздрогнул ворон
И снова стих ...подушка и петля

В руке хрустел мальтийский чёрный крест;
Звал «Александр» — и не было ответа...
Там, наверху, бледнели эполеты,
И липла кровь на свежий манифест.

(Март 1935 г.)

¹ Анна Нелидова

Средний сын, Миша, учился со мной в одном классе. Участия в наших шалостях не принимал; мы его называли «фанатиком». Хорошо играл на пианино, был музыкален, любил задумываться над извечными вопросами смысла жизни, много читал. После войны, где он был, по-моему, в ополчении, работая на заводе, он заболел туберкулёзом и умер в конце 40-х годов. Дочка его училась в ЛТИ, сейчас работает. Двоюродная сестра Нинушки, Галя Кошелева, тогда ещё маленькая (ей было 13 лет) уже поражала острым умом — мне казалось, слишком острым для её лет — была хороша собой. Потом она кончила биофак ЛГУ, стала аспиранткой Алексея Алексеевича, князя Ухтомского (из Рюриковичей), была при кончине его в 1942 году от голода, в блокаду Ленинграда. Он был профессор ЛГУ. Потом Галя стала доктором биологических наук, сейчас здравствует на пенсии (больна). Узнал по радио, в связи с днём рождения Лермонтова, что Кошелевы были с ним в родстве. Кошелев был мужем сестры матери Лермонтова, дальней родней была и Наталья Фёдоровна Иванова (загадка Н.Ф.И. — Ираклия Андроникова) — любимая Михаила Юрьевича. Портретов и записок не сохранилось, в трудные времена (30-е годы) всё сожгли.

Денис Давыдов
«Записка, посланная на бале»

Тебе легко — ты весела
Ты радостна, как утро мая, —
Ты ре'звисься, не вспоминая,
Какую клятву мне дала...

Ты права. Как от упоенья,
В чаду кадилъниц, не забыть
Обет, который, может быть,
Ты бросила от нетерпенья.

А я? — Я жалуясь безжалостной судьбе
Я плачу, как дитя, прикинув к изголовью,
Мечусь по ложу сна, терзаемый любовью
И мыслю о тебе... и об одной тебе!

Я Вас люблю так, как любить Вас должно:
Наперекор судьбе и сплетен городских,
Наперекор, быть может, Вас самих,
Томящих жизнь мою жестоко и безбожно.

Я Вас люблю, — не от того, что Вы
Прекрасней всех, что стан ваш негой дышит
Уста роскошествуют и взор востоком дышит
Что Вы поэзия от ног до головы!

Я Вас люблю без страха, опасенья
Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы.
Я мог бы Вас любить глухим, лишённым зренья,
Я Вас люблю затем, что это Вы!

*На право Вас любить не прибегу к паспорту
Иссохших завистью жеманниц отставных:
Давно с почтением я умоляю их
Не заниматься мной и убираться к чорту.*

Младший брат Колька (на класс младше нас) прочно вошёл в нашу компанию, больше, чем Мишка. Компания тогда состоял из Валерки, Кольки Алексеева, частично Лёвки, Цобки. Большинство из них уже были студентами. Цобка работал геологом на Севере. Он с наслаждением рассказывал об Арктике, как понукают оленьи упряжки криком «Цоб-Цобэ». Его близкий друг Вадим Шефнер стал теперь выдающимся поэтом и прозаиком, очень хорошим. Недавно мы с ним встретились и вспоминали о давно минувших встречах; он рассказал, что Цобка в первые месяцы войны был в добровольческом отряде на расчистке аэродрома и умер вскоре от недоедания (он был полным и высоким). Отчётливо помню, как у Медведевых в ночь начала войны, 21 июня 1941 года, мы собрались в день свадьбы Миши Медведева, мы вышли с Цобкой на балкон, и он сказал: «Я чувствую, что скоро начнется война, и я не переживу её». И мы ещё не знали, что она начинается в эту минуту.

Младшая дочь, Нинушка, училась в это время в 9-ом классе. Стройная, большеглазая, обаятельная, она с подругами своими по школе (Таней Тошаковой, Аллой Татариновой и другими) вносила тайную тревогу и радость первых встреч. Подрастали и более молодые — Галя Кошелева, её двоюродная сестра, очень содержательная, с острым интеллектом и языком, несмотря на свои 13 лет, её подруги. Словом, это был славный дом, и я рад, что там прошла моя молодость. Осталась от всей семьи Нинушка одна. Позже я понял, что я влюбился в Нинушку. Это была первая моя любовь. Она и позже не заходила дальше, чуть более долгого пожатия руки при встрече или прощании, и туманных слов. Вот обнаружилась польза от моих писаний. Я давно не видел Нинушку, не говорил с ней (она плохо слышит), а вчера позвонил по телефону, узнал, что она в больнице, написал ей коротенькое письмо. Николай умер уже давно от водянки, и сейчас, от этой милой, дорогой для меня семьи осталась одна Нинушка. Но у неё — трое внучат. Так сменяются поколения.

Конечно, я тщательно скрывал свои чувства, и в те годы это, может быть, удавалось. Много позже, после войны, после эвакуации, где (узнав, что я умер) она отслужила по мне панихиду и после с ласковым упреком, пожурила меня, что узнала о моём чувстве слишком поздно; кстати, такую же панихиду отслужила по мне в Ленинграде мама Кольки

Алексеева. Думаю, что это помогало мне потом поддерживать веру в жизнь! То, что я молчал об этом много лет, — может быть, действительно, «всё к лучшему в этом лучшем из миров!»

Шахматные мои успехи в те годы внезапно прервались. После школы я много играл во Дворце культуры им. 1-ой пятилетки, в клубе «Рабпрос» и т.д. Дошёл быстро до 2-го взрослого разряда, был победителем одной из групп юношеского первенства Ленинграда, играл в сеансах с мастерами. В этой компании хорошо помню Ваську Сокова, очень талантливого шахматиста и шашкиста. Он тогда уже стал чемпионом Ленинграда по шашкам, и мы с ним часто ходили в кино, где перед сеансом он играл «на ставку». Публика, глядя на этого чёрного, ободранного мальчишку, охотно проигрывала 2-3 партии, а потом никто не мог понять, почему же они начали проигрывать. Словом, деньги на кино всегда были. Вася Соков погиб в первые дни войны, будучи чемпионом СССР по шашкам, и теперь ежегодно играют международные турниры, посвященные его памяти. Очень талантлив он был и скромн.

Как-то нам не понравились действия одного из (представителей) административных кругов, и мы его побили — не сильно, но кровь из носу потекла. Он подал на арбитраж. Было заседание шахкомитета под председательством будущего чемпиона мира Михаила Ботвинника. Нам вменяли всякое, в том числе совершенно нелепое обвинение в антисемитизме (тогда это было ещё модно). Словом, меня исключили из ленинградской шахматной организации. Я понимал и тогда, и сейчас, что это решение было совершенно правильным, и мне пришлось несколько лет в шахматных соревнованиях не участвовать.

В это время мы очень сблизилась с Колькой Медведевым, который поступил на химфак ЛГУ. Мы каждый день играли с ним в карты — гусарский преферанс, винт с болванами и покер. В конце сезона, в итоге он проиграл мне Женькину коллекцию марок. Я тогда начал собирать марки (Россию и Азию, главным образом Японию). Много позже, в 1938 году это небольшое увлечение сыграло в моей жизни фатальную роль. Не знаю, благодарить судьбу за это, или наоборот. Став по природе моей оптимистом, считаю, что крутой поворот судьбы принес мне страшную великую пользу в жизни.

В это время моим приятелем был Антик, брат ближайшей подруги моей сестры. Мы с мамой бывали в их доме по праздникам (рождениям) раза два в году, стесняясь бывать чаще, поскольку уклад их семьи был другого, более высокого уровня. Их отец, Константин

Александрович Тайпале, финн, и в то время финский подданный, до революции был главным инженером табачной фабрики «Лаферм», а потом консультантом. В то же время он был профессором химического факультета Университета, который помещался тогда (и до сих пор частично удерживается) на Среднем проспекте Васильевского острова против этой фабрики (теперь фабрика им. Урицкого) в сером здании, построенном специально для химической лаборатории Высших женских Бестужевских курсов — на уровне единственного в России ВУЗа для женщин. Они дали России ряд выдающихся женщин во многих областях.

Семья Тайпале жила в Университетском дворе во флигеле, примыкающем к зданию Химического Института, теперь, к счастью, сохраненного как Менделеевский Центр; из него была послана Поповым первая в мире беспроводная радиограмма. В этом флигеле жили многие химики, ученики Менделеева (он жил в коридоре Университета, длинном, как стрела, почти не освещенном и в раннем детстве страшном). Там жили Фаворские, Вревские, Тищенко и много химиков — славных имен. Тайпале заведовал кафедрой органической химии; был весьма импозантен, на кухню

6. Ленгосуниверситет

Весной 1934 года Константин Александрович пригласил меня в кабинет и спросил, что я собираюсь в жизни делать. Я признался, что надежду на ВУЗ я оставил, хочу только найти другую работу, не такую вредную для лёгких. Он долго и жёстко ругал меня. Впервые в жизни мне досталось от взрослого, уважаемого, не очень знакомого человека. Он уговорил меня поверить в свои силы и ещё раз попробовать поступать, на этот раз — на химфак ЛГУ. Он объяснил мне, что такое химия и чем она хороша. Конечно, время тогда было иное, никаких понятий о благе тогда не было; я твердо знал, что никаких поблажек не будет (и я уверен — не было), но согласился попробовать и опять весной отправился слушать соловьев на Смоленское кладбище, с учебниками в мешочке. Летом с трудом сдавал экзамены, ушёл с работы и иногда отдыхал на стадионе Ленина на Петроградской, где хорошо было купаться во внутреннем озерце, а потом лежать на солнце на наклонном треке стадиона; у меня появился плюс в социальном положении — три года — стаж работы в Институте и на Путиловском заводе. Я сдал 2 экзамена на «5» — литература (сочинение) и математика, остальные на «4» и «3» и был принят на химический факультет ЛГУ им. Бубнова. Я очень

выходил в крахмальном воротничке, всегда при галстукe, внушал большое уважение всем окружающим и всей семье. У них была домработница, чего я ни в одном доме не видел. Позже, в 1937 году ему предложили в срочном порядке уехать в Финляндию, он не перенёс этого и через 2 недели умер от сердечного приступа. Помню серую ноябрьскую слякоть, дроги, ползущие по Васильевскому острову, почти никого за гробом. Мы с Любочкой Коган (Николаевой) — секретарем комсомола — бредём, утопая в грязи, и думаем, как-то мы отправимся в последний путь; было уже страшное время — все боялись как-то проявлять себя. Семья уехала в Финляндию, и Антик потом погиб в войне, защищая эту страну. (В этих записках я всё время отвлекаюсь вперед к будущему, потому что сейчас потерялась уверенность, что успею дописать до настоящего времени.) Продолжаю. Мы с Антиком много проводили тогда времени, лазая по крышам Университетских домов, по заборам, лазали в тенистый Университетский ботанический садик, где был пруд, в котором мы ловили тритонов и аксолотлей — очень красивых зверей. Теперь, когда я прохожу мимо этого пруда, окруженного цветущими примулами и анемонами, с радостью вспоминаю эти дни.

переживал во время экзаменов; поступающие, только сейчас окончившие школу, говорили так много и так умно, что я чувствовал себя очень ничтожным. Потом большинство из них провалились на вступительных.

Итак, наконец, я стал студентом Университета. Материально жить стало не легче после ухода с работы, но я стал получать стипендию, а сестра Наташа, окончив Институт по истории театра и не найдя работы по специальности, поступила на курсы, окончив которые стала инженером ВСЕГЕИ (Геологическое Управление), высшее образование давало право на это. Она стала работать под руководством Юрия Витальевича Морачевского, крупного геохимика, преподававшего позже в ЛГУ. Отношения на работе у неё были хорошие, она даже бывала дома у «шефа» (как теперь говорят), познакомилась с его детьми: Андрюшей и Лёшей. Лёша был младше меня; потом с Лёшей я встретился и сейчас встречаюсь на работе — он стал профессором на химфаке ЛГУ.

На I-ом курсе я не сразу освоился с непривычной для меня атмосферой учёбы, трудно мне было научиться писать конспекты. Преподаватели были сильные, студенты нашего курса — сильны;

я понял, что они сильнее меня — многие. С ними вскоре я сдружился: Юрочка Кондрашов, Славка Антонов, Кешка Карманов, Лялечка Штейн, Бенжамен Гохман, Ира Цыгир. На II-ом курсе уже был Колька Медведев, но нам было уже не до шахмат и не до карт (хотя позже мы играли и в то, и в другое на задних скамейках Большой Химической аудитории). («Кто там в карты играет?» — тишина, «кто там, наверху, в шахматы играет?» — спрашивает лектор.) Химию общую читал профессор Черняев, неплохо. Помню, как он говорил, что состав морской воды, её концентрация много лет остается неизменной, потому что птицы ловят рыбу, съедают и гуано отлагают на побережьях Южной Америки, и оно попадает в океан. До сих пор не знаю, серьёзно ли он это говорил; не всегда он был трезвым в достаточной мере. Вторую половину курса читал, впервые в ЛГУ, профессор Щукарев. Сергей Александрович читал блестяще, для нас, первокурсников, лекции были увлекательными, захватывали нас (тогда ведь ещё не было телевизоров, популярной литературы и прочего), студенты ещё думали, им не казалось, что они всё на свете знают и меру своего незнания ещё ощущали. Часто он читал стихи, иллюстрируя свои мысли, и огорчал нас (правда, ненадолго) словами: «если вы этого не поняли, не стоит вам сюда ходить зря, протирать штаны». Сергей Александрович умер год назад (1984) в возрасте больше девяноста лет. Читать лекции он перестал раньше; подкосило его то, что его вывели из состава Большого Ученого Совета, где можно было встретиться с коллегами, поговорить обо всём (ректор перед этим, похлопывая С.А. по плечу, любезно уверял, что нам без Вас нельзя, Учёный Совет пропадёт!).

Помню профессора Дрозда, читавшего математику; он задиктовывал некоторые фразы, большинство которых начиналось: «Прав был Гегель, говоря, что...» и далее длинная цитата. Историю философии читал очень хорошо Гальперин. Он всегда опаздывал, говоря, что опоздал поезд (вероятно, это было) и в позе священнослужителя, вознося очи к потолку, вдохновенно, в тишине, рассказывал нам про древних греков и Спинозу.

Вернусь опять к сегодняшнему дню, 19 ноября 1985 года. Сегодня Марианна дала мне твёрдые советы:

1. Постараться подольше не становиться совершенным рамоликом.
2. Не отрываться от кафедральных дел (особенно от своей группы).

3. Поскольку меня, как инвалида Отечественной войны и зав. кафедрой, никто не гонит, надо самому твердо решить, когда ходить и не обсуждать это с ближайшими сотрудниками-друзьями.

4. Отложить писание записок до лета, не уходя в воспоминания, отвлекающие от научных вопросов и тем.

Буду стараться эти пункты выполнять!

27.05.1986. Давно, больше полугодом, ничего не записывал — болел, работал. Вчера был у врачей — получать санаторную карту для путевки с 07.06 в Чёрную Речку, за Зеленогорском. Дали условно, сказав, что, может быть, не примут. Определили: хроническая недостаточность мозгового кровообращения, умеренная (а в путевке сказано, что принимают в лёгкой — I-ой форме). Думаю — необратимо. Мне уже стукнуло 70! Наконец-то стала доступной радость читать то, на что раньше не обращал внимания! Тургенев «Дневник лишнего человека». Человек знает, что ему осталось жить около 2-х недель и начинает писать дневник (последняя запись в последний день жизни). «О своих болезнях порядочный человек не говорит... Э! Расскажу-ка я самому себе всю свою жизнь. Превосходная мысль! Перед смертью оно и прилично, и никому не обидно. Начинаю... Но мне приходит в голову: точно ли стоит рассказывать мою жизнь? Нет, решительно не стоит... Жизнь моя ничем не отличалась от жизни множества других людей... Мое прошлое не представляет ничего ни слишком веселого, ни даже слишком печального, стало быть, в нем точно нет ничего, достойного внимания... Перед смертью, право, кажется, простительно желание узнать, что, дескать, я был за птица? Ненужная птица». (Иван Сергеевич Тургенев)

17.07.86. Был в июне в санатории в Чёрной Речке, хорошо. Получше стало, но не то, что в прошлом году. Возраст уже не тот (> 70). Прочёл там Л. Леонова «Русский лес». Книга не моего романа, как и «Война и мир», но местами сильно написана, и тема благородная, хорошая. «Жизнь Арсеньева» Бунина — написана здорово, но грустная очень. Начинается она так: «Вещи и дела, еще не написанные, бывает тьмой покрываются и гробу беспамятства предаются, написанные же яко осуществленные». Надо записывать.

Сегодня, в Горьковском, узнал от Юрочки Кондрашова, который живет тут почти рядом со мной, что умер наш друг Бенжамен Гохман на днях. Он был сильнее нас всех на курсе (кроме Лялечки); кончив химфак, стал

экономгеографом, доктором наук, приехал в Ленинград на конференцию и на ней же умер внезапно, от аневризмы аорты (разрыв сердца); одно утешение – смерть «лёгкая».

После I курса, который я кончил с оценками, главным образом, «4» и некоторые «5», я впервые уехал из Ленинграда на юг. Впечатление первое, сильное. Москва – проездом – новое метро, Кремль, зоопарк. Ленинград – все-таки лучше! Моя сестра тогда работала георазведчиком и летом была в партии геологов и устроила меня младшим коллектором на Кавказ – подработать. Помню дорогу через степи юга (обычно я – в тамбуре, они были тогда открытые, на подножке сидя), «сумасшедшую» скорость (до 90 км/час – тогда это было здорово) через огромный неведомый мир, ветер, ветер! Огоньки, бегущие мимо. В Нальчике впервые – горы, для меня – фантастические. К Главному Кавказскому хребту ехал на грузовике и был поставлен начальником ~ 20 рабочих.

Ехали по Чегемскому ущелью. Шофер, явно бравирюя, крутил баранку одной рукой по узкой дороге, вырубленной в вертикальной скале; вниз – более 100 метров, вверх – столько же. Ширина ущелья – 30 метров, внизу грохот бурной реки, местами темно. Знаменитые Чегемские водопады – грандиозны! (Военно-Грузинская дорога, которую видел позже, ничто в сравнении – Демон!) Водопад падает с высоты 150 метров сверкающей струей и с грохотом. В Верхнем Чегеме обедали. Здесь я первый раз понял, – что это такое – рисковать жизнью. Сдуру там я полез на вертикальную стену, где был наклонный карниз – можно было держаться одной рукой; повернуться, спуститься – не могу. Пришлось кое-как, ползком. Тут только понял – что такое горы. Вверх от Эльтыбы пешком, разбили лагерь на высоте 4200 метров. Вечные снега, прерываемые каменистыми осыпями; искали касситерит (SnO_2); потом выяснилось, что жилы идут глубоко, под вечные снега. Больше месяца прожил там. Днём – голые, ночью – мёрзнем (~ -5 -7°C). Удивительно, как облака ползут снизу на хребет, который здесь рядом; оттуда спуск в Сванетию.

Я жадно впитывал в себя этот сказочный, неведомый мир. Думаю, на склоне лет во что превращались эти воспоминания, что они дали? Помню гнездо орлов на пути в соседнее ущелье и оба – и он и она, над узкой дорожкой; никакого специального оборудования не было, кроме молотка и зубила. Помню, как яскатывался по узкой осыпи, над 200-метровой вертикальной стенкой и не знал, удержусь ли? Весь я был в конце изорван и потом, когда я один возвратился в Нальчик, меня сразу забрали в милицию, как оборванца – от брюк остались только пояс

и некоторые клочки; просидел в «холодной» около суток, пока по телефону не опознали, кто я.

На втором курсе слушал доклад Владимира Ивановича Вернадского в зале Академии Наук о биосфере Земли. Ему тогда было 72 года. Блестящая речь, вдохновенное, изрезанное морщинами незабываемое лицо великого ученого.

Слушал там же речь Ивана Петровича Павлова об условных рефлексах; часто видел, как он ходил пешком по Университетской набережной из дома, где он жил (на углу 7-ой линии). Потом, вскоре шёл с громадной толпой людей за его гробом. В те же годы слушал первое Менделеевское чтение – Хлопин. В президиуме сидела дочь Дмитрия Ивановича – Любовь Дмитриевна, вдова Александра Блока. Было удивительно смотреть на живой образ «Прекрасной дамы» и видеть пожилую, красивую, вполне земную женщину.

Помню доклады Дебая и Дирака у нас на химфаке и доклад Ирэн Кюри, которую вел под ручку по лестнице Иван Иванович Жуков, болтая с ней на изысканном французском языке.

Помню блестящие выступления Владимира Яхонтова – артиста гениального – в Эрмитажном театре: «Петербург», «Настасья Филипповна» и многие другие его композиции – незабываемые на всю жизнь. А его жизнь оборвалась в пролете лестницы в 1945 году, куда он бросился, говорят, спасаясь от преследования НКВД ещё совсем молодым. Хорошо, что сохранились пластинки с его божественным голосом, но надо было видеть его игру, его самого!

Второй курс прошёл хорошо, компания была чудесная. На первом и втором курсах мы проходили высшую вневойсковую подготовку. Зимой перед лекциями два раза в неделю – шагистика, маршировки с учебной винтовкой и полной выкладкой, стрельба из мелкокалиберной; летом по два месяца – июнь, июль – лагеря в Пери, в лесу, в палатках. Это производило впечатление; нас заставляли трудиться с утра до вечера. Перерыв только на обед и ½ часа отдыха. Поднимали в 6.00 – на подъём 5 минут, иначе на «губу». Старались показать, что такое военная служба. Окрики: «Кто там ещё в задку ковыряется» и т.д. «Здесь вам не Увенерситет, здесь головой думать надо!» Хорошо, что ребята были свои. Походы с полной выкладкой (32 кг) по 10-20 км, марш-броски (10 км/час) по ночам по учебной тревоге, перенос тяжестей, ящиков с патронами (2-ой взвод – с первой линейки на заднюю и тут же – 3-й взвод – с задней на переднюю). Важно было

вдолбить, что нельзя задавать вопросы, что здесь «головой» думать надо. Ноги истерзаны в кровь, так как обувь была не меньше № 45. Конечно, нам крепко досталось, особенно после I курса. Юрочка Кондрашов даже заболел начальной формой туберкулёза (сейчас он живет в Горьковской, за три дома от меня, с женой, и мы часто встречаемся, подолгу говорим обо всем; туберкулёз прошёл, а старость к нам уже подошла). Многие подпортили сердце.



1936, Лялька (Лазарь) Штейн, Кеша (Иннокентий) Карманов

На II курсе стало полегче, появились занятия сидячие, по винтовке и пулемету; старшина каждые 10 минут поднимал нас командой «встать», и кто не вставал, получал два наряда вне очереди. Спали мы в любом месте и положении, например, стоя, опираясь на колесо старенькой пушечки. Находились возможности даже для вопросов (наряд без очереди!). Геннадий Голодников переменял стрелки указателя на развилке: «В штаб полка» и «В уборную», и все бегом попадали не туда (все приказания — только бегом), даже один раз — комдив (за это на «губу» — 5 суток) и т.д. Все эти анекдоты не стоит описывать. Но в общем, это всё оказалось потом на пользу. Мы получили звание младших лейтенантов и даже чуть-чуть гордились!

Летом 1936 года поехал опять на Кавказ со школьным другом, Левкой Степановым, по Военно-Грузинской дороге. Струи Арагвы и Куры. Туннели. Сурамский перевал. Сухуми,

Новый Афон, Батуми, Сочи. Теплоход. Дивная лунная ночь на палубе. Приходят стихи (помню лишь обрывки):

*Маяк угрюмо топит в море
Свои далекие глаза,
Зелёный Мыс заблещет вскоре,
И отойдет, как тень, назад.*

*Жизнь коротка. За бортом, пеной
Пройдут желанья, чувства, дни;
Чтоб утонуть, чтоб серым тленом
Не портить новые огни...*

*Чтоб моря вечные просторы
Вписать в закрытые листы,
Где только песни, грусть, да горы,
Немного музыки и ты.*

*Пушай волна проходит мимо,
Пусть море кутает до плеч...
Оно, как жизнь, необозримо
И, как любовь, не знает встреч.*

*Узнать, чего же сердце хочет,
Что в жизни путал и терял?
И всё равно — Сухум ли, Сочи
Или Сурамский перевал.*

*И всё равно — в далеком дыме
Увидеть славу или крест;
Но этой ночи не отнимут
Ни смерть, ни горе, ни Норд-вест!*

*Где одиноко чувства плыли,
Где на людей смотреть нельзя,
И грусть и радость мне открылись
Над белой пеной корабля...*

*Так, без конца курить «Ракету»,
Прижавшись к мякоти пеньки...
Над лунной ночью путь поэта
Рисует странные круги.*

*Там нет прямых — любви и славы
(Лишь петли есть, где мир жесток).
Они, как радость, величавы,
Их путь, как в море, одиночек.*

Пишу это потому, что и сегодня, ровно через полвека (июль 1986 г.), уже мало что помню, но совершенно ясно, в ощущениях и чувствах, помню эту фантастическую ночь на корабле, с запахами моря, морских канатов и пеньки. Была в то время во мне невысказанная и, конечно, безответная любовь к Нинушке. Уже тогда у неё был поклонник, Юрка Корнев, актёр, певец (бас). Она вышла за него перед войной замуж, но ненадолго. В начале войны он её бросил; остался сын, Борис. Сейчас — взрослый.

Юрка уже в театре не работает. С Нинушкой мы иногда перезваниваемся.

После Сочи летом 1936 года, расставшись с Лёвкой, я продолжал путь один, главным образом на попутных машинах. На обратную дорогу в Ленинград надо было заработать денег; я обосновался в совхозе в станице Ермоловской, в маленьком подсобном хозяйстве санатория в Гаграх, помощником конюха. Сбор фруктов. У меня была лошадь, Манька (самого конюха в штате не было). И мы с ней должны были за день собрать телегу слив и отвезти их недалеко, на сушилку для чернослива. Питались мы с Манькой целые дни арбузами; я их разбивал о камень, сам съедал середину, Манька — остальное. Норму выполнял, несмотря на жару. Помню, ходил в Гагры, вернулся поздно вечером. Машин уже не было, пошёл пешком 20 км по шоссе, вдоль самого моря. Ароматная южная ночь. После выхода из Гагр увидел, что за мной следует какой-то человек. При этом человек сменяется — фигуры разные. Воров я не боялся — ни денег, ни одежды приличной не было — но неприятно. По дороге выяснилось, что на полпути, над шоссе на горе была вилла Сталина «Холодное». Он тогда, после убийства Кирова, готовил уже громкие «антисоветские процессы», став единоличным вождем. Тройной ряд огней, пристань с катером на берегу. У виллы подошёл человек в штатском, спросил документы и пропустил.

Вечерами, мы трое (директор, бухгалтер и я) садились вокруг бочки с вином, по очереди черпали большой кружкой, одевались и шли в местный Дом Отдыха гулять с девушками вдоль пляжа или на всякие мероприятия. Они меня видели днём в необычайно грязном виде с лошадью и тележкой слив, которыми охотно угощал. Одна из них училась где-то в химическом техникуме, а я представлялся, что родился здесь в предгорной деревне, и изображал из себя «самородка», легко отвечал на химические вопросы, был конюхом, плавал в шторм и прочее. Так я не и раскрыл «инкогнито», заработал денег на билет и уехал из этих благодатных краев.

Третий курс — самый трудный на химфаке. Да и тучи над страной сгущались. Война Италии с Абиссинией (теперь Эфиопией). Полёт Нобиле. Гибель Амудсена. Впервые он отправился без всякой подготовки, спасти человека, которого он очень не любил, полетел и пропал без вести в ледяном безмолвии. Мне казалось, что это — было самоубийство великого человека, открывшего Южный (и почти Северный) полюс.

Понемногу мы начали выпивать, главным образом, в нашей пивной на Среднем проспекте

между 6-ой и 5-ой линиями, в низке, часто и днём (с химфака). В погребке у нас был свой столик; холодное пиво, иногда с воблой, давали часто в долг; свой официант Саша — это был наш завтрак. Приходили однокурсники — Славка Антонов; он был сыном офицера, вёл род от князь-кесаря Ромодановского. «Князь» мечтал о военной карьере, но был заикой, хорошо знал литературу, историю, но на истфак не попал; химию не любил и не знал. Во время войны был военным лётчиком, вернее — десантником, и пропал без вести в первые дни. Часто после войны он мне снился, так что, может быть, он исчез на «ту сторону». Его мать, профессор, ученица И.П. Павлова, не имела о нем никаких известий. Бывал там часто Кашечка (Марк Нерославский, прозванный по стиху в стенгазете «мамочку слушай, кашечку кушай»). По вечерам резались в преферанс; Кашечка часто проигрывал Славке и в счёт долга писал за него отчёты по практикуму и шпаргалки на экзамен.

Под вечер приходили и другие ребята: Колька Медведев, Валерка Рейхсфельд — школьные мои друзья, «Граф» и другие. Колька Головин был потомок графа Головина, зятя «полудержавного властелина» Меншикова. В 10 часов вечера оркестрик уходил «кушать водку» и после антракта вскоре расходились все. Бывало утром поздним приходишь, спрашиваешь Сашу: «Как Славка коллоквиум сдал?» — «Вячеслав Львович сдали, 4 балла получили, сам профессор спрашивал». Речь шла о доценте Долголенко, очень требовательном и знающем химике, позже погибшем во времена репрессий. Мы часто получали от него двойки по физической химии, с Борисом Вревским, сыном выдающегося физ-химика, барона Вревского. «Знавал я Вашего батюшку», — говорил Долголенко, «не в него пошли, не в него!» Мне он говорил, что напрасно я место на курсе занимаю. Я тогда озлился и в конце получил «5» и место, может быть, не напрасно занимаю до сих пор! Хорошее было время!

Пили мы, в общем-то, немного — денег не было ни у кого — но часто. Помню, идя домой, споры между Славкой и Колькой Головиным — «чей род старше?» Славка ничего сделать не мог, так как с Колькой иногда бывал брат Юрий и спор приходилось разбирать милиционеру: «Ты, братец, — хам, а я — русский дворянин», — кричал Славка; тогда ещё всё сходило с рук, в преддверии грозных небывалок. Тогда ещё не было пивбаров «золотой молодежи», шмоток заграничных, жизнь была проще и, как мне кажется, приятнее, может быть потому, что были молоды. Бывало, спросишь в пивной (а разговоры «за жизнь» с посетителями о всяких проблемах, о химических делах, о том, что происходит в жизни — до вечера): «Саша, что

есть истина?» и он торжественно отвечает: «Это — пиво, которое на солоде»... Но что-то грозное чувствовалось, уже назревало.

Многие ребята были сильнее меня на курсе, многие слабее. У меня были, в основном, 4, несколько — 5. На факультете у меня была, в конце одна тройка — по коллоидной химии — от Новодранова и я, по молодости лет, обещал себе это исправить, тем более, что предмет этот мне понравился.

Летом 1937 года мы решили отправиться в лодочный поход туристами. Кавказ уже меня не тянул. Тогда не было ещё туризма, как такового — не было ни маршрутов, ни питания по пути. Мы были одними из первых и объявили поход по маршруту озеро Селигер — Ленинград на лодке, втроем. Колька Медведев (он учился тогда на химфаке ЛГУ, кончил 4-ый курс), Валерка Рейхсвельд (ЛХТИ) и я. Взяли бумагу из ЛГУ и даже аванс — 50 рублей. Две причины были выбрать такой необычный путь: 1. Всё по течению, и можно сидеть и играть в кат (преферанс — пока лодка плывет) и 2. Можно было на недельку заехать к Медведевым, которые поселились летом в деревне около Новгорода, повидать Нинушку — она окончила школу. Дали себе зарок — ни глотка спиртного; сказано — сделано. Набрали продуктов, главным образом, муки и круп, и пустились в путь в начале июля.

Тогда ещё не было складных байдарок и прочего. Доехали до Осташкова, поплыли на лодке вдоль по Селигеру (где-то, на какой-то базе, поссорились с сыном Алексея Толстого — Димой, нашего возраста). Озеро дивное, узкое, длинное, всё время новые и новые виды. Древняя Нилова Пустынь, на острове, изумительной красоты. Безлюдные места, пустынные, радостные (воображаю теперь, как там всё загажено и сколько людей). Оттуда с рюкзаками, вернее с мешками на плечах, пошли на озеро Вельё (карта была) — 30 км и там быстро купили лодку рыбацкую за 40 рублей — в виде древнего струга с высоким носом и кормой — длиной 6 метров, двумя парами весел. Наняли подводу и повезли её с нашим скарбом в Демянск, городок заштатный, стоявший на речке Явонь. Шли ночью по Валдайской возвышенности. Жаль, нет дара, описать эту ночь. Мы шли и шли за лодкой на телеге через поля, луга, пригорки по среднерусской милой земле под мерцающими в лёгкой дымке звездочками, среди необычайного духа, нерезкого (не такого, как на юге), миллионов полевых цветов, такого вольного после города с его духотой, химическими лабораториями, напряженными трудными экзаменами. Три фигуры — Валерка в старой военного времени шинели, мы — в трепаных

плащах. Утром вступили в Демянск и опустили лодку в речку. Мы не подозревали, что она, обозначенная на европейского масштаба картах, имеет ~ 15 метров ширины, а глубины — по колено. Под тяжестью груза ~ 50 кг она сидела прочно на дне. Что делать? Сбежалась толпа ребятшек; среди них, оказалось, был Юрка Самсонов, позже — мой родственник — мой шурин (или деверь) лет на пять моложе меня. Потом он рассказывал (он из семьи, знаменитой в этом тихом уездном городишке, потомок татар, дошедших в своё время до Демянска), что наше появление, лодка, невиданная вообще в этих местах, воспринималось почти на уровне татарского нашествия. Но что нам было делать здесь, где глубина во всех местах не доходила до колена, за 700 км от Ленинграда, вдали от всех путей? Что было делать? Но мы были молоды и бодры!

Начали с того, что съели краюху хлеба с молоком, тогда в изобилии водившимся в этой, Богом забытой, деревеньке, некогда построенной в виде маленького городка, ещё до татарского нашествия, и сели тут же у речки за коротенькую пулюку в преферанс под изумленные взгляды жителей, малых и больших. Потом решили тянуть лодку по дну волоком, цепью, которая у нас была, надеясь, что речка станет когда-нибудь глубже; течение струилось, действительно, вперед. Но не тут-то было! Оказалось, что речку пересекали запруды из камней; в середине были полуметровые дырки, в каждой из которых были поставлены сетки-жерлицы для ловли мелкой рыбы. Приходилось перетаскивать лодку с нашим грузом через камни (в сумме, не менее 60 кг). Поздним вечером кончили это тяжелое мероприятие (ни разу не повидав ни одной рыбки!), пройдя около 1½ км и свалились спать в каком-то заброшенном сарае. Речка глубже не стала! За 3 дня такой работы мы переволоклись через полсотни запруд, не знаю, сколько прошли. Но вскоре Явонь кончилась, и мы вошли в реку Полу. Она оказалась поглубже, по пояс, и мы радостно вздохнули, но ненадолго. Оказалось, более тяжелое препятствие — запани. Это — заторы сплавного леса. Приходилось раздеться и под сплошным облаком комаров, ещё не выдавших человека (за 4 дня мы ни одного человека не встретили), мы тянули лодку через эти зажоры, по пояс в воде, состоящие из сплошных бревен с многочисленными топляками на дне. Удалось не порвать ног, течение быстрое, но что толку.

Попалось несколько деревушек — молоко и ночлег, а так у костра жарили лепёшки, плохонькая палаточка у нас была, погода жаркая. Была середина июля. Силы уже иссякли вконец, и мы покрылись волдырями, даже струпиями, когда увидели, что впереди, до изгиба реки

(ширина 50-100 метров и нигде ни дырочки) — сплошной лес бревен. Вышли вперед посмотреть — протяженность около 2 км. Поняли, что положение угрожающе серьёзно, о картах забыли и думать, бока наши уже были изодраны в кровь! К счастью, местность стала открытой, и мы увидели вблизи несколько, с десятком дворов. Решили просить помощи. Оказалось, колхозик. Бумага у нас была о том, что поход туристский и нам дали подводу, сказав, что это — последняя запань на реке. Лодку и скарб погрузили и мы с трудом, без дороги, объехали. Скоро показалась река Ловать, куда впадает Пола — уже большая река, глубиной выше роста, течение быстрое, попутное. Помню, увидев село с церквушкой, сели на берегу раскинуть в «очко» — кому идти в разведку; в это время подошёл старичок-священник, и, приняв нас за нечистую силу, начал произносить заклинания «изыди, Сатано». Но ночлег нам удалось найти на сеновале, и целый день мы лежали после этих испытаний, прислушиваясь изредка к звону будильника, висевшего на носу лодки и, невпопад иногда звонившего. Часов наручных ни у кого из нас не было, в те времена они были большой редкостью и роскошью для студента 3-го курса.

Через пару дней прибыли мы в село Взвод, уже у самого Ильмена. Нас поразило это село — оно оказалось целиком рыбацким, вокруг не было ни полей, ни огородов, зато было очень много лодок и даже несколько барж — «живарыбок» — без дна, затянутых мелкой сеткой. Оказалось, что в них грузят живую рыбу, пойманную в озере, и буксиром везут её по Волхову в Ленинград, где продают с причала на Малой Неве, против Ростральных колонн. Запомнилось, что 3-4 летние ребята прыгают прямо с баржи в реку и плавают превосходно. Два дня прожили в этом селе, рассказывали о нашем походе, о Ленинграде, о студенческой жизни; нам сказали, что ещё не видели лодки и людей с Валдая ни разу и вообще к ним туристы никогда не добирались еще. По дороге, перед Взводом, мы увидели маленький, в рост, каменный, старинный крестик с надписью: «Здесь Игнач крест. Дальше него злы татарове не пошли». Почему? Память об этой старинной загадке мне дороже всех поздних экскурсий по кольцу среднерусских городов. Поле, одинокий крестик. Сохранился ли этот незаметный крестик сейчас, на пустынном берегу тихой речки, после безумной современной битвы, уложившей столько русских людей на родной земле?

Из Взвода решили плыть по восточному берегу (около 150 км по полуокружности), но проплыв несколько км, увидели над озером странное зрелище: край одиночной тучи как-то отогнулся вниз, из него выползла чёрная змейка;

извиваясь, она соединилась с водой и двинулась к нам! Мы вначале, в шутку, сказали: «никак, смерч» и сразу поняли, чуть позже, что тут не до шуток. Берег, песчаный и низкий, был рядок, мы только успели вытащить из воды и перевернуть вверх дном лодку и забраться под нее, укрыв припасы, как начался небывалый град, величиной с хорошую вишню и смерч прошёл через нас. Хорошо, что нас не убило этими «вишнями». Через несколько минут появилось солнце. Днище лодки было всё в пробоинах. Пришлось на два дня осесть здесь, на пустынном берегу и залечивать раны нашей посуды; хорошо, что лодка была совсем новая и у нас были пакля и смола; удалось развести костер и закидывать удочки; мы были не рыболовы, но рыбы было много и удалось наловить мелочи. Позже, мы прочитали о небывалом явлении смерча на Ильмене в газете.

Решили вернуться во Взвод. Там договорились с уходившим буксирчиком за пол-литра чистого спирта с капитаном, чтобы он отвез нас в Новгород. (2 бутылки у нас были — всё-таки мы — химики, и мы ни капли не выпили!) Путешествие было занятным. Команда — трое: капитан, штурман (он же механик, он же матрос). Сзади — «живорыбка», за ней наша лодка. Мы лежим на палубе и черпаем ведром живую рыбу — судаков, которую тут же варим! Выпили под рыбку (мы — немножко!). К концу дня солнце скрылось, пошли тучи...

Сейчас пишу эти строки в милом Горьковском, один. Надвигается гроза... Я стар, но крыша над головой есть. Уже конец июля. Отгремели игры Доброй Воли, предложенные Рейганом и горячо поддержанные Горбачевым. Скоро осень с её заботами и делами. А я — почти без ног и головы! По ночам эти мысли одолевают, хотя здесь спится, на веранде, гораздо лучше, чем в городе.

Продолжаю. Буксирчик куда-то медленно движется; компаса нет — ребята из команды сказали, что в нем был залит спирт и его давно выпили. В послеобеденной дымке вижу, что в рубке стоит за рулем уже не штурман, а Валерка в долгополой шинели. Спрашиваю: «Куда путь держишь?» и в это время, сверкнувшее на миг вечернее солнце, вдали озарило золотой купол Юрьевского монастыря.

Ура, Новгород! Мать городов северных! Вечером же, мы, поставив лодку с веслами на цепь и замок, отправились с оскудевшими запасами на плечах и двумя колодами карт, на местном поезде в деревню, где жили Медведевы, чтобы отоспаться. Там пробыли неделю (Юрка Корнев поселился в соседней избе) и поняли,

что свадьба Нинушки уже не за горами. Она не старалась куда-либо поступить учиться, готовя себя, видимо, на роль домашней хозяйки; брала уроки пения у профессора Консерватории Боссэ и пела весьма неплохо.

Вернулись в Новгород. Это был маленький тогда, провинциальный тихий городок с тенями былой славы. В 15-ом веке там было 250 тысяч жителей, осталось не более 10 тысяч; после жестокого разгрома Иваном III и перехода центральной власти в Москву он, как и Псков, постепенно впал в уныние. Но сохранился великолепный Юрьев монастырь на крутом берегу в месте истока широкого Волхова из Ильменя (немногим уже Невы), грандиозный Софийский Кремль, памятник 1000-летия России и недалеко от города дивный храм Спас-Нередицы (ныне разрушенный немцами), с тёплыми, живыми фресками 10-го века, прекрасный в своей святости. Музеев и туристов, консервных банок и прочего ещё не было, и мы подробно облазали всё это. Помню, как через 40 лет, в 1976 году, мы с Марианной Сидоровой привезли нашего гостя из Нидерландов, Ханса Ликлему, на машине из Ленинграда, и он сразу же, с Юрьева монастыря, сбежал к воде и смочил голову, считая, видимо, что она святая (он рассказывал, когда был ребёнком, их преследовали немцы в убежищах в Нидерландах).

Поплыли дальше по широкой воде, по течению Волхова (около 200 км); тут-то думали, наконец, удастся поиграть вволю, но... начался сильнейший норд-ост, типичный, как я потом убедился, для самых последних дней июля. Лодка пошла против течения, поднялись седые барашки. Мы работали по очереди по 12 часов в сутки, на одной паре весел (другая была уже повреждена), замучились совсем. Добрались до Грузина, 6 км после моста Октябрьской железной дороги. Это — усадьба всесильного временщика Александра, Аракчеева. Деревянный дворец, построенный еще, как будто, Росси, на фронтоне знаменитый аракчеевский девиз «Без лести предан». Людей — ни одного. Нашли хранителя — древнего старичка; он охотно рассказал нам, открыл старинными ключами комнаты, причем рассказывал так, как будто сам был свидетелем. Громадный портрет, в рост, красавицы Настасьи Минкиной, фаворитки временщика. Она командовала тут всем, была очень жестокой (видно и по глазам) и запарывала до смерти своих крепостных. Вскоре её зарезали дворовые. Могила её, с великолепной статуей итальянской работы. На бельведере, с которого видна прямая, как стрела, просека на Чудово — стояли бронзовые солнечные часы с двухметровым циферблатом (диаметром). Было солнечно, у зрителя были часы, и мы убедились,

что они показывают время с точностью до ½ минуты. Оказалось, что Аракчеев стацил их у Французского генералштаба, когда наши вступили в 1815 году в Париж.

Ветер крепчал, лодку несло против течения, мы устали вконец, устроили привал у костра на берегу. Дневник мы вели, один — официальный, мы его сдали в Университет, тогда он звался именем Бубнова — наркома Просвещения и Высшего образования; потом Бубнов расстреляли в период репрессий. Копия, вероятно, у меня дома, я не выбрасывал; другой — не очень печатный — не сохранился.

Утром мы увидели буксир с длинными плотами и, поскольку у нас ещё была последняя поллитровка, мы прицепились лодкой к нему — он шёл медленно в сторону Ленинграда. Два дня мы плыли с ним, ветер стих, но мы блаженно лежали на бревнах, ели рыбку; с утра бросались в воду и плыли, догоняя медленный транспорт. Волховстрой, тогда самую крупную в СССР гидростанцию (как будто) мы прошли по бумаге, и для нашей лодочки специально открыли шлюзы; было жутко спускаться на лодке между вертикальных стен, грандиозных по высоте. Шум воды и ощущение, что негде, в случае чего, зацепиться!

В Новой Ладогe, последнем пункте нашего Волховского пути, у нас украли лодку! Как обычно, мы поставили её на цепь и замок на ночь, заночевав где-то на сеновале и опившись молоком с хлебом. Это — старинное воровское село. Что делать? Пошли в милицию, дали приметы лодки; нам обещали, что её не пропустят ни через шлюзы, ни под железнодорожным мостом. Но где искать лодку? Прошли по обоим берегам и только на второй день обнаружили её, утопленную в затоне, на другом берегу. Там было неглубоко, и мы заметили два маленьких уголка — корма и нос чуть выдавались над водой, чуть-чуть, но этого было достаточно! Дальше шли Старо-Ладожским каналом (огибая Ладого ~ 100 км). Вода тихая, места убогие, мелкие чухонские деревушки, хвойный лес. Мы плыли спокойно, только, устав от пути, медленно переругивались о том — хорош ли был поход (Валерка и я — за!) или плох (Колька — против!).

Из Новой Ладогe мы дали телеграмму ректору ЛГУ (Лазуркину — старому большевику, позже расстрелянному), и Неву прошли быстро за полдня через ивановские Пороги (потом их выровняли), лихо развернув лодку перед Главным Зданием. В одних трусах мы предстали перед ректором, вышедшем встречать нас на Университетском спуске. Он поздравил нас (потом дали грамоту), спросил, как называется

лодка; но названия у неё не было. Так закончился этот поход; хорошо, что полтора месяца мы были всё время в воде. Потом лодку прицепили под Ростральными колоннами и всю осень, ночами, когда мосты разводят, за малую мзду перевозили к Зимнему Дворцу запоздалых гуляк. Потом лодку продали за те же сорок рублей, проигравшись в карты с шулерами.

Вот, записал 22 года, осталось 49! Надо писать короче, если найдется читатель!

Четвёртый курс — осень 1937 года; предметы нелёгкие. Я старался сдавать экзамены без шпаргалок, но не всегда было легко. Один раз в жизни у меня были «шпоры» — по военной химии. Преподаватель был какой-то чужой; за два часа иногда умудрялся не произнести ни одного слова — всё писал на доске длинные формулы — самой простой был люизит. Шпоры, сложенные гармошкой, писал на папиросной бумаге и раскладывал по всем карманам в порядке таблицы Менделеева. Получил «5»... В подвальчик на Среднем по-прежнему похаживали.

Тучи понемногу сгущались, причем довольно быстро. Начали исчезать люди из домов, с улиц. Пошли слухи, что их хватают в неведомые чёрные машины. По «Булгаковски». Но об этом великом романе мы узнали лет двадцать спустя. Посадили отца Медведевых, бухгалтера, не очень крупного; три дня продержали и выпустили, приказав всей семьей выехать за 72 часа куда угодно «минус 6» (минус 6 крупных городов). Они отправились в Саратов, не успев, конечно, в спешке ни продать мебели, ни вообще что-либо сделать. Помню, как наш приятель Костя Мальцев купил огромную (до потолка) веерную пальму (не помню сейчас почему — этот жест всем не очень понравился). Мишка и Колька уехали с родителями в Саратов. Нинушка осталась. Ей оставили одну комнату в бывшей их квартире, так как она родилась на две недели позже Октябрьской революции (такой «гуманный» приказ отдал Сталин). Через две недели уехала подруга Нинушки Таня Тошакова с одной больной матерью. Я пошёл их проводить на вокзал, к перрону подали какие-то теплушки. Никто уже не ходил провожать. Потом я переписывался с ней долго, получал длинные письма (она мне нравилась), что не очень рекомендовалось, но письма шли. Казалось, что вся эта «Булгаковщина» скоро пройдет. Помню строчки из длинного моего стихотворенья...

*И всё же, в самом деле
Как и вчера — сегодня нет письма...
Она, наверно, явится сама,
С бровей стряхнув уфимские метели...*

Казалось, что всё это временно. Помню, я до хрипоты, до матерщины спорил со Славкой Антоновым; я был, как и большинство, ортодоксальным. Он: «Димочка, Вы маленький дурачок, Вы ничего не понимаете, Вас ещё разотрут в порошок, поверьте мне». И я, действительно, плохо понимал, что творится, глупо считая, что если за мной ничего нет — мне нечего и опасаться!

Иногда заглядывал к Нинушке, она рассказывала мне про своего жениха, думая, что меня это радует. Даже был с ней в Филармонии на концерте Изабеллы Юрьевой и до сих пор не забыл стихи; но, конечно, тогда ни этих стихов, ни своих смущенных чувств не открыл.

*Мы с тобой затерялись на хорах,
Где на люстрах волнует хрусталь,
И в твоих переливчатых взорах
С тихой лаской смешалась печаль.*

*Про обиду, любовь и печаль ты
Говорила, склонившись ко мне...
А на сцене гремело контральто
О погубленной лунной весне.*

*Снова мне, в тишине затаенного зала
Ты, усталая, стала близка,
И рука твоя тихо дрожала
Над засохшей слезою листка...*

*Цыганка пела. Страсти стоном
Она не трогала, не жгла.
Ведь в мутном сумраке балкона
Ты звезды света пролила.*

*В лучах смешного, детского знакомства
Немало грез недетских пережил...
«Мы странно встретились и странно разойдемся»
За то, что слишком странно я любил.*

*И я люблю; пускай хохочут люди,
Не надо мне избитого пути.
Такой любви потом уже не будет,
А женских ласк немало впереди!*

Последних строк:

*Иди, иди! Вперед и вверх,
Покуда хватит силы,
Чтоб свет не мерк на самом дне могилы,
Где все мы сжаты взаперти.*

— я тогда и сам не понимал, но для доморощенных поэтов свойственно «напускать туману». А в остальном, как говорится, комментарии излишни.

Осенью я начал пить часто и даже один, без Славки или Кашки. Можно, конечно, сослаться на неразделённую любовь или грозовые тучи, но, вероятно, я просто легко втянулся. Не было и блоковских мотивов, типа «Глухие тайны мне поручены, мне чье солнце вручено». Просто сильно втянулся. Были даже слабые попытки самоубийства в нетрезвом виде — спасибо, друзья выручили — Лялька Штейн (он сильно отчитал меня), Кешка Карманов, Юрочка Кондрашов. Учиться стало много тяжелее.

На ноябрьские праздники познакомился с девушкой, которая произвела сильное впечатление — Наташей Грудининой. Она кончила школу вместе с моим знакомым Борисом Берёзкиным, с которым мы ходили в ЛОК (Ленинградское общество коллекционеров) по поводу собирания марок и открыток. Борька, на три года младше меня, только что окончил 10-й класс, очень своеобразный парень. Его отец крупный полярник, профессор; Борис много читал, но обладал странной психикой; он, например, ушёл из Филармонии с первых же тактов 9-ой симфонии Бетховена, буквально сорвался с места и убежал. Наташа только что поступила на филфак ЛГУ на какие-то скандинавские языки. Так вот, мы встретились на вечеринке в незнакомой компании, выпили, а потом всю осеннюю ночь напролёт бродили по Васильевскому острову. Мы убедились в том, что пишем в стихах одно и то же, теми же словами. Тогда это казалось нам магией, колдовством, и мы ощутили странную связь. Она была тёмной, с неправильными чертами лица, с огромными, глубокими, широко расставленными глазами. Жила она одна, с матерью в сталинском доме, в одной комнате, напротив кино «Гигант». Мы начали встречаться, пил я отдельными вспышками. Горячая переписка. Через месяц, в декабре мы просидели всю ночь у неё (куда-то она услала на ночь мать, отца у неё не было), и она открыла свои чувства ко мне. Это было фантастично. Я ответил ей тем же, но сказал, что болен, нравственно, пью и надо преодолеть сначала всё это. (Позже, мать её говорила мне: «Но ведь Вы не имеете средств, чтобы купить ей батистовый платочек, чтобы утирать ей горькие слезы потом». Она, вероятно, была права, но дело не в этом.) Жили они весьма небогато. Мы давали друг другу страшные клятвы, что мы переделаем себя, будем учиться и т.д. Но, при всем неодолимом тяготении, была и сила отталкивания, тоже немалая (не только у меня, но и у нее). При её несомненной и яркой талантливости была, мне казалось, у неё авантюристическая жилка какого-то стяжательского толка. И я не был уверен, что мы одни, хотя никаких признаков кого-то третьего не было.

Прикладываю одно стихотворение Наташи «Я живу с твоей карточкой». Очень незрело, но большое чувство, искреннее, показывающее, что из неё может вырасти большой, настоящий поэт. Сейчас она жива, у неё новый муж, как будто хороший, и взрослая дочь. Она — член Союза Писателей. Слышал, что она выручила Иосифа Бродского из-под угрозы тюрьмы (за тунеядство и сионизм). Потом его выслали из СССР; сейчас он получил Нобелевскую премию. Стихотворенье — подлинник, её рукой, нашёл в своем архиве, 1938 год.

*«Я живу с твоей карточкой,
С той, что хохочет».*
Пастернак

*Ты прислал мне дневник, где симфония муки
Где чахотка в груди, где семейный разлад.
Ты не Гамлет ведь, слушай, возьми себя в руки!
Опоздала. Петля не воротит назад.*

*Этот стон и чахотка — последняя свита.
До чистилища — вместе, а дальше — один.
Не узнает никто, что за зеркалом битым
Я в коробке держу в порошке кокаин...*

*Я реву, как ребенок... Я, как женщина, плачу;
Ты не умер бы так, если б слышал мой плач;
На последней странице, где пишу наудачу
Я закрою тобой мой итог неудач...*

*Пусть прочтет этот стих — тот, кто гибнуть не хочет,
Оборвет пусть аккорды на веселой струне.
«Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет»
В фотогруппе студентов, так близко ко мне.*

*Я люблю этот смех, белозубый и звонкий.
И на карточке слышно — он, как лира, поёт.
Я была б ещё долго беззаботной девчонкой,
Танцевала б невинно безобразный фокстрот...*

*Я прижалась к окну, точно грёза Вертинского,
Кокаином распята под осенним дождём
Только жизнь мне представилась
не улыбкою сфинксовой,
А петлей вопросительной над мечтами о нём...*

*Если ты, ослепляющий белозубой улыбкою
Спасовал под угрозою умереть, не сгорев...
Ведь за час твоей жизни разрыдалась бы
скрипку
Вся земля и на звезды бы передался напев.*

*Ведь за эти минуты до назначенной гибели
Ты б прошёл все дороги, не рискуя ничем,
Ты бы выпил шампанского,
сколько люди не выпили,
Из богинь неприступнейших
ты б устроил гарем.*

*Ты ведь лучший из лучших,
ты из сильных сильнейший,
Если ты спасовал, так кому ж ещё жить!...
Я дышу кокаином, я умру, точно Гейша,
Оттого что меня ты не вернешься любить.*

*Пусть прочтёт этот стих, тот,
кто гибнуть не хочет,
Оборвёт пусть аккорды на веселой струне,
«Я умру с твоей карточкой, с той, что хохочет»,
В фотогруппе студентов так близко ко мне.*

Н.Г., декабрь 1937

От этого времени, теперь через 50 лет,
вспоминаю ярче всего два случая.

1. Я страшно обидел родителей, пригласив Наташу Новый Год встречать вдвоём, в комнате моей сестры (она была в отъезде). Сейчас я ещё краснею, вспоминая. Конечно, это далеко не самый мой страшный грех (как у Настасьи Филипповны на именинах в «Идиоте»), я позже совершал отвратительные вещи и сейчас, под старость, они всё явственнее оживают по ночам. Самое ужасное, что большинство из них — необратимо. Мы просидели вдвоём; думаю, что родителям было ужасно тяжело это.

2. Уже весной я возвращался пешком, часа в три ночи домой по пустынному Кондратьевскому. Проливной, хотя и тёплый дождь; весь промок до нитки. И сзади вдруг пустой извозчик, один из последних в Ленинграде. Подвез домой. Блаженно было, после волнений и тревог, дремать, как в тёплой ванне, под мерное «цоканье» копыт, на «дутиках» (дутье шины), дремать, ни о чем не думая!...

Весной Борька Березкин прыгнул с Тучкова моста, посередине, в Малую Неву, где его подхватил в лодке подготовленный приятель. Потом он сказал мне, что его вызывали в Большой Дом, в УГБ (Управление Госбезопасности), что-то он спьяну болтал в компании, мне незнакомой. В то время, незадолго до этого разговора я продал коллекцию марок некоему Седову, члену ЛОК; Борька сказал мне, что Седов работает в органах. Меня это волновало мало — начинались экзамены и личные дела были на переломе судьбы. Справлюсь ли я с собой? С Наташей встречался. Казалось, что ни — да, ни — нет.

И тут я вступил в «страшный» мир. Потом — страшнее была только потеря Женьки, уход её из жизни. Но в этот, ближайший год я страстно, неукротимо мечтал об одном: чтобы мне удалось, хоть одному человеку на свете, рассказать, что я пережил и внешне и внутренне, хотя понимал, что практически никаких шансов в жизни для этого — нет. Но вера была. Только верой это можно назвать. Надежды практически не было.

Вот и тетрадь кончилась. Мне — 22 года. Это было 48 лет назад. Сейчас пишу в любимом моём Горьковском, в маленьком домике на веранде. За широкими стеклами июльский горячий полдень, лес, переходящий в сад. Сейчас срезал цветущие зверобои, чтобы настоять их на водке.

Пора пойти, покурить. Пишу, чтобы занять страницу. И всё сильнее чувствую и вспоминаю ночами мои грехи, и всё-таки радость не оставляет меня!



1938

7. Без названия

В ночь на 03.06.1938 г я увидел чёткий, совершенно явственный сон, что меня ведут по длинному коридору, сзади идет военный и направляет револьвер мне в затылок. Потом я сразу резко заснул.

Это было 3 июня 1938 года. Проснулся я от чужой руки, шарившей под подушкой в поисках предполагавшего револьвера. Передо мной стоял молоденький майор и некто Дунин (я его знал) — пожилой матрос с Балтики — понятой. Родители в полутрансе. Матери — 60 лет, отцу — 62. Он думал, что за ним, и мне казалось, что он с радостью бы поменялся ролями. Обыск — 2 часа, даже в сарай заглянули. Ничего не взяли; да ничего и не было. Помню, что при выходе из квартиры, где было темно, майор ударился лбом о входную дверь и рассёк лоб так, что кровь хлынула ручьем и маме пришлось дрожащими руками наложить повязку на весь лоб. На легковой машине, с раненым, мы ранним утром направились в Большой Дом, вернее на Шпалерную, которая соединялась с ним внутренним переходом. Посадили меня в приёмную камеру на несколько часов. Не помню, чтобы я переживал сильно, но не раз просился в уборную (в сопровождении часового) — тогда впервые я узнал такие «приступы» недержания. И вот меня повели по узкому длинному коридору; сзади конвойный, в руках — револьвер. Ощущение угрозы выстрела в затылок. Во сне ли это? И первая, нелепая мысль, тогда ещё свойственная людям — это ошибка! Придя в камеру, я быстро разубедился в этом — первая моя камера! Пока шли, ничего не случилось, никакого выстрела не произошло, и меня ввели в камеру; дверь с замком глухо закрылась. В большой (~100 м²) камере было больше 200 человек в самых разношёрстных одеждах, частично почти голые — было уже на улице тепло. Одна стена, выходящая в коридор, была почти открыта (кроме двери) и сплошь зарешёчена. В другой (тоже под решёткой) было полуоткрытое окно; в левом углу, на бетонном невысоком выступе стоял открытый стульчак; был как будто даже спусковой бачок (один на всех). Над полом, керамзитовым по всей площади пола, лежали разъемные нары из щитов на козлах. Мне дали место для житья под нарами. Многоголосый шум двух сотен многих больных и одичавших людей наполнял камеру, и я как-то остолбенел. К ночи легли спать. Никогда не забуду первую ночь на Шпалерке; самое сильное впечатление (его не забыть до конца жизни), что нельзя сесть под нарами, как в могиле, можно только выползти через спящих людей (или не спящих!) до туалета. И крики в окно, нестерпимые крики всю ночь из подвалов, где,

очевидно, допрашивали; нечеловеческие крики (и женские). После рассказов страдальцев я ещё до первого допроса (через три дня) уяснил ситуацию, и мои представления эти почти не менялись потом. Я понял, что то, что ты — не верблюд — нельзя никому доказать. Я почувствовал и понял ясно, что неодолимая чёрная сила слилась, и смертные перед ней устоять не могут. И думать, что «если ты ни в чем не виноват, тебя скоро отпустят» — нелепо. И все-таки, где-то внутри теплилась вера (надежды не было), она и потом меня не оставляла и теперь, что я ещё буду жить на этом свете.

Я читал потом много про эти года, воспоминания очевидцев, которым удалось уцелеть, и об этом нужно писать, как обо всех страшных событиях: о войне, о голоде, о том, чем велик и грозен наш век. Но я не надеялся, что мне придется об этом писать, пусть кратко, но эти строки, я думаю, людям нужны. (Конечно, можно было и раньше, например, за четверть века, после XXII съезда, да дел было невпроворот.)

Первый допрос — в мрачном, почти чёрном кабинете в верхних этажах Большого Дома. Мне был инкриминирован целый «букет» (как его тогда называли): статья 58 п.п. 6, 8, 10, 11. 58 — «КОНТРА», 6 — шпионаж (фамилия — немецкая), 8 — террор (студент, тем более химик), 10 — агитация, 11 — участие в контрреволюционной группировке. Первый допрос был недолгим. За окном — другой мир, залитый огнями и шумной толпой Литейный проспект. Я швырнул в окно, со всей силы, тяжелую чернильницу, не сообразив, что стёкла могут быть небьющимися, получил лёгкий «втык».

Смешно было оправдываться от этих нелепых беспочвенных обвинений. Я задумался, а что же Советская власть, к которой мы так привыкли? Что она? Я пытался потом писать наверх, но писем не принимали; одно из них, в январе 1939 года потом пошло (позже скажу, как, но куда пришло — неизвестно)? Я уже тогда понял, что во времена, когда муж пишет донос на жену, сын на отца, сотрудник на шефа, когда начисто исчезла мораль — зло стало торжествовать. Управлял ли этим Сталин или кто-то ещё — я не знал тогда, не знаю в точности и сейчас, но думаю, что чёрная сила была выше, сильнее Сталина, несмотря на все последующие процессы, на убийство любимца народа Кирова. Как мог кто-нибудь один справиться с этой лавиной, с безумным мутным потоком? Чёрная сила была выше — это было вселенское, может быть, всероссийское, зло, назревшее, и наконец, лопнувшее, как гнойный

пузырь. Он просто аккумулировал его в тёмных и властных руках. (Потом мне говорили, что нарком Госбезопасности Ежов и многие другие, например, Ягода, Заковский — были масонами — может быть.) Нарыв прорвался, согласно законам природы, и верхи не могли не уничтожить людей — хотели ли они этого или не хотели. Я видел, как уничтожали, — кого? — прежде всего, старых большевиков, может быть, несогласных с принятой точкой зрения, старые кадры, особенно армейские, уже были уничтожены. (Мой дядя, офицер флота, хотя его матросы защищали всячески в 1918 году, был расстрелян в 1937 году.) Далее вся подлинная интеллигенция, у которой было какое-то собственное мнение. Вот это и было главным признаком, по которому забирали. Свое мнение надо было уничтожить у людей. Конечно, я был щенком, никем, и меня забрали, как я позже узнал, потому что был членом ЛОКа и посылал в обмен почтовые марки, но не за рубеж; да и фамилия немецкая (п.6), а всякий студент — террорист (п.8) — это наверху было ясно. Позже я слышал (и там), что за решеткой можно было говорить обо всем свободно. Стукачей не было. Я знал, что следователи боялись, чтобы другие следователи не заглянули в его папку, но совершенно не опасались нас — «зэков»! На первых же допросах следователь повторял, что жалобы бесполезны, что им не страшен никто, сам Сталин ... (непечатно), срывали ордена, плевали, мочились на них. Это была психическая обработка, самая мучительная из всего, что мы испытали. И тут я впервые почувствовал, что ни от кого я не завишу, никто сильнее гадости уже не сможет сделать и впервые — чувство, что настоящая свобода может быть именно там; и как-то легче на душе становилось! ... Я рад, что успел дописать до третьей тетради, на что не надеялся; может быть, кто-нибудь и прочтет эти строки, квинтэссенцию, и дай Бог, чтобы читающему (ему или ей) они помогли на пути, трудном по жизни пути, как лекарство — горькое и полезное!

Мы знали, что стукачей убивали и свои «зэки» и охранники, и это давало некоторое ощущение свободы, но о том, что предстоит впереди — я знал пока только по разговорам. Мой «букет» предполагал «высшую меру», но, а если длинные годы лагерей со строгим режимом? Людей «оттуда» мы первое время не видели, но слышали много. То, как здесь избивали зэков, мы уже насмотрелись. В камеры с допросов приходили избитые, с выбитыми зубами и пр. — ну об этом потом писали многие. В камере был пожилой человек, финн, великолепный массажист, за полчаса он многих ставил на ноги, но многие в камеру и не возвращались. Мне пока ничего конкретного не предъявляли, стараясь выяснить — с кем я

знаком и о чём говорили и прочее. Они начали с психологической обработки. Началось. Вначале водили на «расстрел» в подвалы. Стреляли, и не было представлений «всерьёз» это и выстрел — последний, или имитация? И сон мой, и последующая явь сразу сильно расшатали психику. Потом — стойки. В коридоре, перед дверьми следователя, стояли по много часов. Следователи сменялись, в три смены, а мы стояли в стойке. Иногда ставили в ящики, правда, просторные, похожие на стоячие гробы. Редко давали что-то пожевать. Говорят, что этот метод — безотказен. Через несколько суток (иногда — несколько десятков) без всяких телесных повреждений — мозги уже отказывали, и человек говорит или пишет то, что ему говорят. Предвидя это, я помнил, что самое главное, что надо удержать в сознании, чтобы не втянуть куда-то (неизвестно, куда) ни родных, ни близких друзей. Это в итоге мне удалось, и никто из друзей через меня не пострадал. Это было непросто. Надо было соглашаться, но с чем? Неизвестно. Позже, после «подготовки», когда сознание стало совсем мутным (я даже не мог вспомнить формулу серной кислоты, студент 4-го курса!) и бессвязным, но главное, что я знал — нельзя забывать, ещё сохранилось в голове; я чувствовал — твердо. Оказалось, что я состою в организации контрреволюционеров из, примерно, пары десятков людей; мне назвали фамилии, но я никогда в жизни их не слышал и не встречал, кроме Берёзкина, который оказался арестованным в одну ночь со мной. Потом мои родители считали и много позже, что Борька меня ввязал в это дело, но я думаю, что было не так. Вся «моя» компания — были собиратели марок и были членами ЛОК, некоторые переписывались с границей и вели филателистический обмен (я никогда этим не занимался и писем не получал). Позже я узнал, что весь состав и правление ЛОК во главе с Буткевичем, Кастериным и др. — исчезли целиком. УГБ тщательно занималось этим делом и не могло никак понять, — что скрывается под этой филателией, зачем люди этим занимались? Для чего? Не знаю, что они узнали, думаю, что в том деле и заключалось, что ничего найти нельзя было — поскольку именно ничего и не было. Допросы подходили к концу, надо было со мной что-то делать. И я написал длинный протокол допроса, фантастический и безумный, считая, что чем безумней, тем лучше, может быть, когда-нибудь (следователь мой не был отвратителем или слишком уж жесток, но с чрезвычайно низкой культурой). Не помню деталей, но я признал, что был (неизвестный мне) старик с седой бородой, немецкий агент, которому наша группа (часть) была подручной, и мы выкопали подземный ход из Ленинграда прямо в Москву с тем, чтобы подорвать Кремль — ни больше, ни меньше! Тут и шпионаж, и террор,

и группа — всё было. Где-то в архивах УГБ, может быть, сохранился этот дикий протокол. На этом следствие кончили, и я в последних числах июня поехал в «чёрном вороне», расшвыривая записки — «кому-нибудь» (огрызки карандашей у нас были — нам иногда разрешали писать заявления, не поступавшие, конечно, никуда) в огромном количестве через щели.

По поворотам я понял, что везут через Литейный мост, по-видимому, на Выборгскую.

Адреса «Крестов» я тогда точно не знал.

Хочу кратко сказать о заключенных («зэках») на Шпалерной. Мы были изолированы от уголовных («урок»). Им не положено было слышать и видеть то, что знала интеллигенция. Из двухсот человек (сменявшихся, понемногу, каждый день) разных возрастов, были люди разных профессий и национальностей. За этот месяц я понял ясно, что судьба не только жестоко ударила, но и щедро вознаградила меня. Больше половины было людей с высшим, больше десятка — с европейским высшим. Мог ли я мечтать, недоучившийся студент 4 курса без всяких связей — попасть в такую компанию и близко сойтись с несколькими. Курить я так ни разу не бросил, всегда находились какие-то окурки, чинарики, горстки махорки. Как горячо благодарен я им всем, что меня поддерживали, воспитывали, учили, помогали в этой тяжелой школе жизни, делая её в какой-то мере сладкой. Спасибо им!

Под нарами я провёл только три первые жуткие ночи, о которых не могу вспомнить без дрожи и теперь. Люди как-то, чем-то занимались, несмотря на все. Сейчас вспомнил зэка, сидевшего на полу перед решетчатой дверью и зашивающего одежду, почти демонстративно, деревянной иглой и только, когда попка проходил мимо — зэк вытаскивал настоящую иголку, стальную, пронесенную через обыск в каблуке. А я на воле ничего не подготовил. Потом, лет 20, я всегда имел в каблуке иголку! А певцы — как быстро они изменяли и мотив и слова, в такт движению попки по коридору!

Вспоминаю Юркуна, близкого друга поэта Михаила Кузьмина, жившего с ним несколько лет в Царском Селе. Он замечательно читал стихи (Юркун), многие из которых были для меня новыми. Мой друг, Глеб Васильев, блестящий человек (ныне покойный), учившийся со мной на химфаке, потом, в аспирантуре у моего учителя Ивана Ивановича Жукова (не кончил), очень интересный, большой (педераст), живший в Пушкине, приятель Бреговдзе и Вечесловой, говорил мне, после войны: «Димочка, разве Вы не знали, что Юркун — муж Кузьмина, это всем известно». Я много ещё помнил стихов; интересно, что, в моем полузабытии,

я их произносил отчётливо, вероятно как-то автоматически. От старосты камеры я получил за это высшую в жизни награду — он пустил меня, вне очереди, спать наверху, на нарах! Особенно близко я подружился с пожилым тогда человеком (думаю, что ему было тогда лет 50) Игорем Миклашевским, с маленьким лицом, похожим на печёное яблоко. Он был музыкант. Он каждый день давал нам концерты. Боготворил Вагнера и голосом исполнял нам всё «Кольцо Нибелунгов». Он был болен, видимо неизлечимо — «огромная язва желудка» — на этой баланде, не щадившая его. Он готовился к смерти, я много говорил с ним ночами (мы были соседи), убеждал его, пытался, в моей молодости, влить в него и силу, и веру в жизнь. Не знаю его путей дальше, но перед самой войной, уже на воле, я увидел на стене афишу: Игорь Миклашевский в Филармонии дирижирует большим оркестром, с программой — Вагнер — «Лоэнгрин». Мы с женой, будущей, Женькой, прорвались туда, и как я был счастлив, что мог расцеловаться с ним за кулисами — без единого слова! Может быть, среди моих грехов найдется и немного доброго — встреча с ним была огромной радостью. Так много мы говорили по душам! Позже мы не встречались, было неловко великому дирижеру напоминать о себе.

Познакомился с японцем (фамилию забыл), неплохо говорившим по-русски, хрупким, с привлекательным, избитым, в буквальном смысле слова, лицом. Он хлопотал о пенсии, изъездил все цирки мира со своим «единственным» и неповторимым номером, с товарищем, изображал обезьяну, бегающую по канату и балагурия по ходу, делая языки. Языки он знал все. За этот номер он получал много овец.

Прочел сейчас книгу Павленко «Александр Данилович Меншиков» (изд-во «Наука», М., Л., 1981). Хорошая книга. Он пишет, что Меншиков до конца дней, далеко, за полярным кругом, сохранял достоинство и оптимизм, сам работал топором. На смертном одре он завещал детям своим быть порядочными и честными людьми. «Если правосудие Божие бесконечно, то и милосердие его, на которое я уповаю, также беспредельно.»

Начались «Кресты». Кресты — два трёх- или четырёхэтажных каменных здания, каждое — в форме креста, соединенные между собой церквушкой, построенные, вероятно, в первые годы страшного XX века. В центре креста — лестница, вокруг которой — сетки, чтобы не бросались вниз головой. Меня ввели в камеру № 118, где я прожил полгода. Интересно, что потом, когда удалось прочесть Булгакова «Мастер и Маргарита» — там есть этот номер! (Камера с глухой дверью и окошечком; площадь

камеры — 7 м².) Там было 15 молодых, на вид симпатичных ребят. У двери — параша, на окне — почти глухие козырьки, из-за которых видно что-то, если взобраться на железную кровать под окном.

Они сказали мне, что все они — эстонцы, трактористы. Я сразу не понял; оказалось, что они троцкисты, откуда-то из-под Гдова; наслушались наше радио, как у нас хорошо и перебежали всей группой границу, крестьяне. В УГБ, вероятно, были шокированы таким редким случаем, но что-то надо было с ними делать! Вот им и предъявили троцкизм — такое слово они и слыхом не слыхали; на Шпалерке они не были — прямо сюда, в Кресты, чтобы идейной подготовки не было; видно, ещё не было о них указаний, что с ними делать. Случай, конечно, редкостный. Они слегка понимали по-русски, и я им в течении пары дней (и после маленького допросика) объяснял их ситуацию. Не хотели и верить, если бы допросик не помог. Позже я прочитал книгу, изданную в Латвии в 20-х годах, князя Мещерского (мне её дали почитать из библиотеки Ленина), откуда узнал, что Александр I умер в 1825 году (Елизавета Алексеевна жила зиму 1825 года в Таганроге), а потом, через несколько лет, появился в Сибири старец Федор Кузьмич (приводятся неопровержимые доказательства, что Федор Кузьмич и Александр I — одно и то же лицо, приводятся факсимиле почерков, а я в графологии когда-то разбирался, действительно — полное сходство). Николай I потом съездил в Сибирь в 1831 году к «старцу» и говорил с ним — о чём неизвестно, потом Николай I сжёг всё, что относилось к этому делу. А Елизавета Алексеевна скончалась на обратном пути из Таганрога. В Петропавловской церкви не было Александра I в гробу. Кстати, Павел I, по слухам, был «чухной» (см. записки декабриста фон Бригена, серия «Полярная звезда» А.Ф. Бриген, Иркутск, Восточно-Сибирское книжное издательство, 1986 г.) из деревни Котлы (Екатерина II родила мёртвого ребёнка, когда была великой княжной и его подменили «чухонцем»). Потом, после убийства Павла I, появился в Сибири брат Федора Кузьмича Афанасий, называвший Александра I и Николая I племянниками.

Возвращаюсь к Крестам. Эстонцы разговаривали на своем языке, мне было скучно, я ничего не понимал; на допросы не водили, спрашивать было уже нечего, про то, о чём слыхом не слыхали — говорить было некому. Кормили — с утра 500 г хлеба, потом два раза — чай и в обед — баланда без мяса, в которой плавали рыбы жидкие косточки. Два раза в неделю — каша. Мне дали место хорошее — под кроватью, на которой двое лежали,

у задней стенки. Я оказался старожилом, прожил на этом месте полгода! Остальные спали на полу и переворачивались с боку на бок одновременно, на длине три с половиной метра плюс кровать, то есть вплотную. Позже, когда численность иногда достигала 21 человека, двое сидели ночь на спинке кровати. 2 раза в день водили в уборную и по 10 минут в день — прогулка по двору, у одного из крестов (ни с кем ни звука, руки за спину!). Недели через две ночью вызвали. Это был первый (и предпоследний) мой допрос в церкви, где поместилось УГБ.

Ночь. Слабо освещенные церковные своды. Прошёл по коридору человек с многими ромбами в петлицах; я догадался — Заковский, начальник УГБ Ленинградской области, ближайший помощник Ежова. Впереди — 2 офицера, 2 — сзади. Стоял у стенки перед комнатой следователя, не знал — надо ли было шейно поклониться? Он величественно проплыл мимо.

Тут привели девушку, вставшую у соседнего кабинета. Часовой ходил взад-вперед на дистанции около 100 м и не оглядывался, и мы могли полночи до начала рассвета поговорить вволю. Она рассказала мне свою историю, очень странную, почти фантастическую. Оба мы были тогда ещё в полусознании, но несомненная породистость её облика говорила, что это — не сон, а наяву. Ей было 19 лет, и была она настолько обаятельна, что на время я целиком позабыл занимавшие меня тогда ещё образы. Её звали Маргарита Александровна Роган. Эта девушка (мне говорили, что с женщинами там не церемонятся, но девушек — при поступлении — медосмотр, не трогали в Ленинграде и даже, в случае чего, расстрел на месте сотрудника УГБ.) Она сказала, что родилась в 1918 году, и её отец, в 1919 году чудом уцелевший, бывший герцог Роган (потомок), на барахолке в Ленинграде, чтобы спасти ребёнка, продал за мешок муки и бутылку постного масла маленькую золотую коронку. Настоящая маленькая корона, а не зубная. Неизвестно, какими путями могущественному герцогу, пэру Франции, она досталась, но эта короночка некогда украшала кудри Марии, королевы Франции, позже ставшей знаменитой под именем королевы шотландской Марии Стюарт.

Прочел недавно стихи Эльдара Рязанова на эту тему (см. библиотека «Огонька» № 26, 1988, с. 26). Хороши очень, вся книжечка.

Отец и мать девушки потом погибли, она осталась одна, и теперь с неё требуют — где корона? Она страшно и гневно говорила мне

(и глаза её сверкали под этими сводами, где горели редкие лампочки), что заявляет чистую правду, что короны нет, мы успели поцеловаться. Тут меня вызвали в комнату, предложили подписать обвинительное заключение по тексту, о чем я уже написал выше. Через полчаса меня вывели, и уже никого не было.

Много позже я прочитал великую книгу Булгакова, слова Воланда о Маргарите: «Как причудливо тасует карты Судьба».

Потом мы никогда не встретились. Много позже, выйдя на волю, я навел справки в Большом Доме. Мне ответили, что она в УГБ. «Можно дать передачу или деньги?» — «Нет. А кто Вы такой?», пришлось ответить, что «посторонний». «А письмо?» «Если дадут право переписки, — валяйте, может быть дойдет.» Идиотская ухмылка. По её адресу (она жила на углу Офицерской и Английского), в конторе никого не значилось. Это — дом, где тогда была мастерская (под крышей) скульптора Манизера. В начале войны дом разрушила бомба! И все. Удивительно, причудливо тасует карты судьба!

Ни разу больше до начал декабря меня (и других) не вызывали. Голод начинал (давать) себя знать. Полкило мякинного хлеба в день было явно мало. Если на Шпалерной мы получали продуктов на несколько рублей в месяц (за счёт денег, отобранных у нас, и иногда переводов), то в Крестах была одна махорка, и то — ладно. Началась легкая цинга — овощей не хватало, не было лука, чеснока, картошки. Потом у меня выпали и цельные зубы. Книг не было. Старые газеты попадались иногда, для закуток махорки. Спички давали, и мы иногда увлекались простой игрой: держа 2 спички в руках — разобрать всю кучу спичек, высыпанных на пол в беспорядке, не задев ни одной. Иногда давали огрызки карандашей и клочки бумаги — писать заявление о бытовых трудностях. О юридической стороне «ззков» писать было не положено, да и глупо было бы в этой ситуации писать. В баню, действительно, ходили регулярно, раз в десять дней, здесь же, в Крестах, чтобы не заводились вши. Была и вошебойка, одежду (ветхие клочки) пропаривали. Где-то там была отдушина, можно было прятать записки для соседних камер; по утрам, в уборной, мы встречались на миг — «попка» быстро разгонял по камерам. Забыл сказать, что в центре креста на каждом этаже был часовой, наблюдавший сразу все крестовины, примерно по десять камер в каждой. Попыток побега, насколько мне известно — не бывало. Хорошо были сделаны Кресты.

Чувство свободы духа во мне нарастало, по мере чувства мучительного голода. Вставала проблема, — как съесть пайку хлеба — сразу или по частям. Эстонцев всех сразу быстро куда-то увели. В тот же день появилось 15 (а потом больше) новых — ленинградцев и пригородных, но все — не сильно высокого уровня. Интересен был один — пожилой красивый мужчина — академик Академии Художеств — Флоринский, вечно ссорившийся с соседями — он был крупный и давил их при поворотах. Днём ходили по очереди по 3-х метровой дорожке в камере. Я сохранил свое место под кроватью, сзади другого, став старостой камеры, но не очень надолго — в бане мы, однажды, нашли ломаную бочку, сняли обручи, принесли их в камеру, надев на себя под нашей (уже рубищем) одеждой. Разделили, и у каждого появились острые, остроконечные ножи, медленно вытаскиваемые из этого железа на керамзитовом полу. Их запрятали в щели, конечно, но ножей было больше, чем щелей! Чем занимались? Помню, до одури спорили, например, какой золотой шпиль виден в окно за козырьком, если встать на спинку кровати? Большинство голосовало за Петропавловку, хотя мне казалось ясно, что это шпиль на Военно-Технической Академии (ВИТУ). Спорили несколько дней! И вот я начал под кроватью писать большую поэму о Прометее, как он несёт огонь людям, попадает на самое дно тюрьмы, а дальше — путь вперед и вверх, к солнцу, в вечные льды. К концу срока, поздней осенью, мне удалось её кончить; самое трудное было заучивать всё больше и больше — вычурный громоздкий язык. Сейчас не помню ни одной строчки, лишь ритм — вроде анапеста: тарарам, тарарам, тарарам, тарарам, тарарам-та и лейтмотив: хоть бы узнали люди, что есть на земле неведомое им стихийное, огромное зло, преодолели его и поднимались к солнцу по «белой лестнице». Всего в поэме было больше сотни строф (по 4 строки) и запомнить их было очень трудно, что свидетельствовало об их низком качестве. Но некоторое время я их помнил. Называлась поэма, как будто «Знамя и луч». Основной смысл: страшно здесь умереть в качестве врага народа, потому что никто не узнает, что это не так, а сейчас я радуюсь непрерывно, что люди, хоть не все, поняли это наконец!

Нашёл в архиве в шкафу в Ленинграде (1988 год) начало поэмы. Привожу её.

ЗНАМЯ И ЛУЧ

Начало поэмы. Поэма писалась под койкой в «Крестах», в темноте, в августе-ноябре 1938 года, в возрасте 23 лет. Размер, порожденный клеткой — анапест, пятистопный и трёхстопный, но торжественный.

Краткое содержание. Неверно, что говорят живые, говорят только мёртвые. Человек идет вперед и вверх — величественная тёмная лестница. По этим ступеням — гробы. Это — их песня.

Песня о Прометее

Памяти мёртвых

I. Искры

Жил на свете герой;
до сих пор берегут его славу
На вершинах бессмертья века;
И орёл каждый день,
прилетая за пищей кровавой,
Роет кровью следы в облаках.

Он хотел воротить
вымиравшему стаду людишек
Их блаженный, потерянный век,
И бессмертный огонь
у Богов отобрал, как излишек
Для любимой Земли человек.

Люди пели во сне;
через пропасти, скалы и кручи
К ним на землю сходила звезда;
Это шёл Прометей,
одиноким, бесстрашным, могучим;
Всюду рушилась в бездны вода.

Кто поможет ему?
Боги карой грозят небывалой;
Люди слепы и света не ждуют...
О, как чужд этот мир;
как зловеще хохочут обвалы,
Обрывая лавинами путь.

[Кусочек забыл. Прометей — один, и одно, за что он держится (как за малого ребёнка), родное и любимое — его факел. Погоня Богов...]

Снизу — скользкая смерть
на скалистом оскаленном склоне,
Сбоку — пропасти ждуют в темноте...
Он упал на краю;
все равно не спастись от погони,
Все равно, не сбываться мечте.

Так, прими ж, мой народ,
хоть мечту о несбывшемся счастье,
Хоть осколки бессмертных лучей;
Ты остался в цепях;
собери эти битые части
И воскресшим огнем их развей.

О, прости мне, земля,
проклинайте ничтожные Боги.
О, воскресни для смертных, мой луч;
И клинками очей,
отшатнув эту стаю двуногих,
Бросил факел он в чёрную мглу.

Он из кубка небес
звезды мира плеснул без остатка
На лицо умиравшей земли.
(Перед смертью всегда,
когда все уж не смотрят, украдкой
Дорогому сверкнёт ещё лик).

И увидел герой,
разгораясь бессмертьем сквозь муки,
Мириад сверкающих брызг,
Что в колодцы сердец,
в трудовые рабочие руки,
В каждый атом природы впились.

Но, разбившись о мир,
все тускнело и смолкло сиянье
(лик потух. Доплывала свеча);
и не видел никто,
что под каждым осколком страданья
Притаились брызги луча.

Хоронили свой шаг,
не оставя следа, поколенья.
В этой, мёртвой снаружи, земле,
Только Он, среди мук,
ждал веками её воскресенья
Вечной пыткой прибит на скале.

2. Луч

Мы родились впотьмах,
в колыбели страданья земного,
Были вспоены кровью отцов,
И в голодном труде
мы за хлеб получали оковы
От похитивших власть подлецов.

Но, не знали они,
что мы глупы вскрывая природы
Обрели эти брызги в труде;
Затаенный их блеск
мы под спудом страданья народа
С тайным жаром сливали сердец.

Эти слитки в груди
породили в нас творческий трепет
Звали к битвам за счастье свое;
И когда весь народ
стал окован единою цепью
Мы спаялись единым огнём.

Как в темницах любовь
или правду в позорном обмане,
Как Неву в ледящей броне,
Разве можно сдержатъ
налитую запрудой страданий
Эту лаву в людской глубине?

Рухнул взорванный строй;
тайных брызг возгорелось пламя,
Весь народ озаряя в бою;
То воскресла земля, разделив революцию с нами
Как победу, как песню свою.

Так, разбив нашу цепь,
мы раскованной грудью миллионов
Раздували немеркнущий свет;
И, целуя зарю,
перед нами склонялись знамена
Багряницей великих побед.

Мы потомкам несли
в отможенных пальцах Отчизны
Этот жар, замерзая в бою,
Мы червонным зерном
в ненасытные житницы жизни
Лили тело и душу свою.

Наша кровь на полях;
наша клятва у стен Мавзолея
Были первою пищей огня.
Да, мы отдали все,
чтобы ширился луч Прометея
Алой зорькой свободного дня.

И, сгорев до конца,
мы сокровище наших страданий
Завещали бойцам молодым,
Чтоб раздули огонь,
озарив им глубины сознания
Для залога заветной мечты.

И, вскормленный огнем,
разум сам, чтобы вскармливал пламя
Что одно разгоралось в другом;
Без насилья и лжи
чтоб свободно свободное знамя
Подымалось единым трудом.

Завещали творить,
позабыв о насущных невзгодах;
Отрекаясь от личного «я»,
Чтоб настал этот час,
когда разум познает свободу,
И в огне обновится земля.

3. Пожар

Глава описывает места заключения: Шпалерку, «Кресты» и др. Под окном нашей камеры № 118 за решёткой окна (высоко в стене камеры), плескалась Нева, и её плеск был иногда даже слышен; а свет можно было вообразить. Текст этой главы не был записан после выхода, и у меня его нет. Надежды, что я запомню — не оправдались, я не написал его после возвращения домой, ибо он был в те времена политически нецензурен, и за 50 лет, конечно, полностью забыл (думаю и потому, что текст в художественном отношении был очень плох).

Я старался рассказывать про химию, и слушали с интересом. Нарисовал, по памяти, Периодическую систему, частично (уже память стала возвращаться), на клочке бумаге, и сам стал много об этом думать. Пришла в голову мысль, которую я посчитал законом, что живое отличается от мёртвого тем, что у него самопроизвольно уменьшается энтропия, вопреки Клаузиусу. В жизни всегда есть выбор — «да» или «нет», а не множество вариантов. Творчество есть в любом деле, оно, как стихи Пушкина, где ни одной буквы и ни одного звука нельзя заменить (Онегина я легко запомнил в то время, целиком, наизусть!). Я понял: жизнь — это выбор. Выбор путей определённых, не каких угодно, не произвольных. Уменьшение энтропии жизни может идти за счёт каких угодно процессов спонтанного роста энтропии в системе одновременно (может быть, на солнце) — не знал и теперь не знаю — за счёт каких. Но жизнь — творчество, радость, любовь — не хаотизация, а единизация!

И тогда, в темноте, под койкой, я понял, что если мне суждено когда-нибудь выбраться отсюда, я прежде всего не буду пить, а потом — стану биологом. Лет через 10 я прочитал книгу великого физика Э. Шредингера «Что такое жизнь?», понял с радостью, что я не одинок. Он, примерно в то же время, в конце тридцатых годов, на вопрос «Что такое жизнь», независимо, пришёл к «негэнтропии» (конечно, более обоснованно). Мне было так радостно это прочитать!

Поздней осенью — обыск в камере 118. Отобрали больше 30 ножей. У меня забрали бумажку, где были контуры таблицы Менделеева. Вызвали к начальству. «Что ты мне врешь по Менделеева, так-то и так-то. Говори правду — это шпионский шифр.» Сняли со старосты и карцер. Надеялся, там отдохну в одиночке — не тут-то было. Оказалось — холодина, меня туда привели в одной рваной майке; в параше — жидкость замерзает, ни хлеба, ни баланды не дали, только кружка с водой.

После двух суток там меня отнесли в камеру назад в состоянии бессознательном, с высокой температурой. В лазарет не взяли; плеврит; но под кроватью как-то отлежался. «Мы контров не лечим, мы советские люди» – сказал мне лазаретный врач. Из-под кровати я почти не вылезал, только в уборную утром, за пайкой хлеба, за баландой и вечером – за жидким чаем, уже без хлеба. И все. Я знаю, что сейчас придумали новый метод лечения – отсутствия кислорода и вволю – CO₂; не знаю, как насчёт plenty of other gases, «выхлопных газов»?

Козырьки на окнах – почти непроницаемы. В эти дни появился «лишний» 21-й эзк, ему приходилось ночь сидеть на параше. Я твердо держал заднее место под кроватью. Здесь, в условиях голода на хлеб и кислород, я переходил в неизвестный мне (да и многим, наверное) фантастический мир. Как-то, на «воле», прочитал роман Джека Лондона «Смирительная рубашка» (есть и второе название, как будто «Среди миров»). Там он очень ярко описывает, как человек, затаенный в плотную смирительную рубашку (у меня её не было), усилием воли заставляет исчезнуть временно свое тело, начиная с большого пальца ноги и т.д. После этого он мог летать из тюрьмы – куда угодно, на время, встречаться с близкими людьми и т.д. Конечно, это – роман, но здесь, сутками под кроватью, в полной духоте (а ночью – уже в холоде) я решил попробовать! За неделю мне это удалось – от большого пальца ноги, по всему телу, до черепа. И я, почти месяц – летал, я ощущал запахи, если редко пробовал пить водку – тошнило физически – под койку! Повидал родителей, узнал, что у Наташи Г. – другой человек. (Один раз я его видел, и не был в восторге.) Всё стало ясно. Тут я полностью ощутил «свободу духа», настоящую, представлявшуюся раньше мысленно.

В конце декабря несколько человек (в том числе, меня) утром вызвали, повели в подвал (из всего здания – пара сот «эзков») и прочитали по списку (ФИО и сколько лет), сказав вначале, что судить нас не будут, есть приказ Особого Совещания (Особой «Тройки») – отправить в концентрационные лагеря на столько-то; («вышки» среди нас не было), их отправляли отдельно, на машинах к Рябовскому шоссе, на Всеволожскую, в район артиллерийского стрельбища; я помню, ещё мальчишкой видел в 1925 году, под утро, свежие ямы – отец тогда отмалчивался на вопросы – вероятно, он догадывался, но я отчётливо запомнил. Мне дали 10 лет (тогда «потолок» перед вышкой), как и большинству. Не помню ощущения – как будто: «но всё-таки не «вышка». В тот же день на «вороне» отвезли. Я не мог точно, по поворотам, сказать – куда.

Оказалось – это пересыльная тюрьма (тогда слово «тюрьма» не было принято, говорили ДПЗ – дом предварительного заключения). Начался новый этап.

Старое здание, дореволюционное, справа от центра по Старо-Невскому, на Константиноградской улице, в сторону Обводного канала.

Высокие, огромные камеры, около 400 метров квадратных каждая. В камере – отдельные прямоугольные блоки, высотой в три (а некоторые до пяти) – нары. Между ними – «улицы»; их называли Невский, Лиговская, Чубаров переулок и другие. Спать просторно. Мы перешли в другое ведомство – из УГБ в НКВД, и условия стали другие: разрешили прогулки, свидания два раза в месяц, передачи и письма. Передачи очень скромные, но всё-таки разрешили хлеб, махорку, кой-какую одежду. Мы ходили друг к другу в гости (по-прежнему, одни «зэки» и «бытовики» – урок не было). Я оказался на нарах рядом с Борькой Берёзкиным. Обсудили наше дело. Он тоже получил «десятку». На допросах он что-то плёл про террор, опасался за анекдоты (были в деле), которые он действительно болтал в незнакомой мне компании, и это было установлено очными ставками – он и не отпирался. Мы больше месяца лежали вместе, болтали целые дни. Я ему прочитал мою поэму. Ему понравилось, но сказал, что в стихах он «ни уха, ни рыла». Позже я узнал, что он ещё досидел до финской войны и погиб в штрафных ротах на фронте. Мир памяти его в моей душе!..

Как делать клей – я уже научился. Надо было долго жевать мякиш хлеба и потом протирать его через тряпочку в кружку. Получался хороший сметанного цвета и коллоидного вида клей. И я решил подклеивать на изнанке другой листок бумаги, а в середине между ними класть из папиросной гильзы тонкую записку. Так я переправил на волю моё заявление Сталину (где-то, может быть, копия сохранилась), а второй раз – мою поэму, с просьбой передать Наташе Грудиной (мама была с ней немного знакома и сказала, что Наташа бывает у них, но реже). На свидания просил, чтобы никто, кроме мамы, не приходил. О судьбе поэмы мы ни разу не говорили. С Наташей мы встретились на «воле» потом три раза; ей было тогда не до того.

Свидания происходили через узкий проход, около одного метра, с одной стороны обтянутый проволочной сеткой с часовыми, ходящими между стенками. В каждом ряду вплотную стояло больше сотен двух: 10 минут. Шум стоял такой, что почти ничего не было слышно. Но записки оба раза удалось передать. Людей в камере было

больше тысячи. Была середина января 1939 года. «Мороз и солнце — день чудесный.» Мы нежились на ярком солнце на хороших прогулках по 30 минут вокруг ДПЗ. И вот, к ночи, нас всех вывели, кое-кто уже получил ватники и ушанки с «воли». Понимали, что на юг не поедет. Нас пешком, под конвоем, подвели на запасные пути Октябрьской железной дороге; оказалось — пути, подходившие прямо к пересыльной тюрьме. Уже стояли красные поношенные товарные вагоны...

Ну ладно, пора отдохнуть, закончу после, как-нибудь. Не скоро ещё я попал на волю. Почему-то не торопились грузить нас в теплушки. Бегали начальники, что-то говорили между собой. Часа три с наслаждением «зэки» бродили у путей под крепким морозом, ночью. Вдруг пробежал дикий слух (откуда узнали?): «Ребята, Ежова прогнали, теперь большой УГБ будет Берия!» Никто не знал, кто это, но поняли, что всякая перемена — в нашу пользу. Многие целовались, даже крестились. Погнали назад, тут же уже было много воронов. Погрузили всех. С трепетом, по поворотам, следили — куда? Ворота, грохоча, открылись... Здравствуй, «родная» Шпалерка! В камере было «всего» 130 человек, лежали вольно, под нарами, и уже никакого «попки» не было. Мы сразу поняли, что стало легче. Через несколько дней часть уходила, и мы знали — на «волю».

Берия сразу, для контраста, начал «либеральный» режим, как обычно. Конечно, нам было ясно, что не просто — двери откроют, выходи; но мы увидели, что есть на нарах книги, узнали, что в месяц рублей на 30 можно покупать зелени, папирос. Нам уже начали говорить «Вы» часовые, пища стала лучше, каша два раза в день. Недели через две вызвали меня на допрос. Следователь другой, вежливый («Курите, сидя»), чаю дал. «Что у Вас в деле? Не пойму, какой подкоп, какой Кремль?» Я даже фыркнул, радостно. Чуть какая. Я объяснил, что это мной нарочно накручено, чтобы яснее было, чтобы в протоколе эта «липа» была. Целую ночь проговорили обо всем, даже об энтропии — я рассказал, о Боге. Он предложил сотрудничать. Я сказал, что оплатил достаточно, сполна, что меня это не устраивает, что я — один (ни жены, ни невесты); понял здесь силу духа и буду рад настоящей свободе духа без быта, без мелких хлопот и тревог. В конце он сказал — посидите, всё равно я Вас не выпущу, но обвинение постараюсь с Вас снять, и запомните — Вы под судом не были.

Прошло 8 месяцев моего сидения. Настроение у всех изменилось резко. «Может быть, до Сталина докатилось?» — думали некоторые. Конечно, никакой переписки, никаких свиданий, но жить стало нормальнее. Мне, действительно, не хотелось тогда на волю, чувствовал, что Наташи уже нет для меня. Хотелось, правда, учиться дальше, на биолога, но я смутно понимал, что лучших учителей не найти, чем здесь. Оказалось, что опять меня окружают люди выдающиеся, перед которыми я — пешка, и моё счастье, что есть чему поучиться. Месяца через три я стал старостой камеры и сразу же столкнулся с трудным делом. К нам привели некоего Мисюка. Человек пожилой, рыжеватый, очень похожий на череп с двумя косточками, с глубоко посаженными глазами и не очень приятным взглядом. Он рассказал, что играет на скрипке, и долго говорил про всякие симфонии. Один из «зэков», вернувшийся недавно на переследствие, сразу признал его, что он был здесь, в Ленинграде, председателем трибунала и ему лично влил 8 лет по приговору. Все решили — самосуд. Провели собрание камеры. Часовой на коридоре с интересом прислушивался. Я сказал, что самосуд нелеп, что он сам человек подневольный и то, что он сам попал в нашу компанию «зэков», говорит в его пользу. Большинством голосов (незначительным) решили самосуда не делать. Я попросил часового пригласить дежурного по этажу и сказал, как староста камеры, о собрании и решении, но не ручался, что ночью его потихоньку не придушат. В тот же вечер его убрали в другую камеру, на другом этаже (перестук), и мы его встречали издали на прогулках. В общем, жизнь пошла другая — не слышно было ни избиений, ни стоек, даже — ни зуботычин. Допросов почти не стало. Мы во всю наслаждались спокойным отдыхом. На всех четырех углах располагались клубы: слева от двери — лекции и доклады, главным образом о путешествиях. Справа — литературный — рассказы (печатные), чтение стихов. В глубине у окна, около уборной — анекдоты всяческие, и политические (без ограничения), и скабрёзные. Приведу один пример из анекдотов тех времен. Мне кажется, что он как раз соответствовал «духу времени», и довольно точно отражал то, чего от нас хотели — от народа. В то время, в большой моде были «6 условий Сталина». Их заставляли изучать и чуть ли не требовали заучивать наизусть. Не помню теперь их, помню что-то: покончить с уравниловкой и обезличкой и т.д. Но анекдот я запомнил твердо:

Частушка

*Ка'лина да ма'лина
Шесть условий Сталина.
Два Петра Великого
Остальные — Рыкова.*

*Ка'лина да ма'лина
Мы прогоним Сталина,
Мы прогоним Рыкова,
Вернем Петра великого*

6 условий (анекдот)

1. Не думай!
2. Если думаешь — не говори!
3. Если говоришь — не пиши!
4. Если пишешь — не печатай!
5. Если печатаешь — не распространяй!
6. Если распространяешь — не кайся!

Наконец-то я выполнил первые три условия.
А остальных трёх выполнять не собираюсь!

В наших клубах важно было, чтобы цепь не прерывалась ни разу — с утра до вечера по несколько раз. В правом дальнем шла карточная игра — чем дальше, тем сильнее. Об этом хочется сказать подробнее. В начале моего появления на Шпалерке, один из «зэкков» читал нам лекции о Клондайке, где он (через Алеуты) жил несколько лет в начале 10-х годов, промывал золото. Там он подружился с людьми, близко знавшими Джека Лондона. Лекции были замечательные. Он нам потом рассказал подробно, как играть в настоящий покер с джек-фестами (праздниками). Карты склеивали хлебным клеем из двух папиросных окурков. Красная краска — из растертого кирпича (стена!), чёрная — из сажи от сожженной рваной калоши. При помощи трафарета из плотной бумаги (пачки папирос) рисовали на них черви и пики. Дошло до того, что вскоре была в камере фабрика, изготовлявшая по 2, а то и по 4 колоды в день. Платили им из банка (проценты) сахаром, мы его в пиленом виде раз в месяц получали. Играли на сахар, фишки — спички. Игроки подобрались подходящие. Гомбоджаб Мерген, монгол, лет 30 с лишним, ставший мне позже близким другом; сидел с каменным лицом, как идол, и никто не мог догадаться, какая у него карта на руках. Он постоянно выигрывал и даже не заказывал себе сахар (вообще все заказы мы всегда делили на всех, поскольку у многих денег не было). В общем, игра была страстная, иногда целыми днями до позднего вечера, и с утра — вновь.

Мерген мне сразу понравился. В ответ на вызов дежурного надо было, услышав фамилию и имя, называть отчество. У него не было

отчества (монгол), и он отвечал: «Угееевич», а попке было невдомек, что это производная от слов УГБ! Он был из княжеской богатой семьи, и до 16 лет был в Лхассе, обучался на ламу-монаха, подвижника. Рассказывал мне про первое испытание. Учитель ставил метку кистью под ложечкой. Надо было за две недели, самовнушением вырастить на этом месте камень. Потом учитель вырезал его из пищевода снаружи и переходил к следующему испытанию. Мергену это удалось (показал шрам). Дальше нужно было внушением размягчать темечко, сделать его тонким и тогда летать в любое время и в любое место. Я сказал ему о моих «путешествиях» в Крестах, ему очень понравилось это, и мы стали большими друзьями.

Ему, в процессе подготовки, пришлось через год поехать во Францию. Там он прожил лет 8, окончил Университет и потом *Collegue du France*, стал доктором исторических наук (по Тамерлану) и приехал в СССР продолжать поиски в Средней Азии; но, вместо этого, попал в КГБ и очень боялся, что его отправят в Монголию, где его там сразу уничтожат и «цеплялся» за Шпалерку.

Мы долго с ним говорили по вечерам, по ночам, никто нам не мешал. Блаженное время! Он — о буддизме, я — о втором начале термодинамики, о «единизации». Убедились в том, что это — в сущности одно и то же — энергетика.

Существует большой котел — Сансер, в котором круговращаются все люди и звери (и может быть растения) во все многочисленные отрезки своих отдельных жизней. На каждом, в зависимости от добра и зла им созданного, он поднимается или опускается на одну ступеньку, энергетический уровень; немногим удастся выйти из котла (вверх и вперед!) и войти в Нирвану — состояние блаженное — полного покоя без страстей, без желаний и чувств!

Потом на «воле» мне удалось ему послать передачу и записку. Я знал, что в Ленинграде у него осталась богатейшая библиотека. Он был одинок, и её сразу забрали в УГБ. Сохранилась ли она? Следующий раз мне отказали в справке, его уже не было. Какова его судьба — не знаю; до сих пор я вижу его в снах.

Наиболее увлекательными были лекции Николая Ивановича Евгенова — командира одного из двух небольших ледоколов; они открыли для России Северную Землю, и изучили путь через Карское море — наиболее трудный участок Великого Северного пути. (Недавно передавали по радио о столетии Н.И. Евгенова.) Лекции его продолжались несколько месяцев каждый день. На керамзитовом полу, куском сахара,

он аккуратно вычерчивал все пути вдоль берегов Сибири, и контуры островов и морей. Он вышел на «волю» раньше меня, и я потом приходил к нему в гости. Вечерок посидели. Ему тогда было 49 лет, но выглядел он старше. Жив ли он? Память моя горячо благодарна ему!

Вот так текла моя жизнь. Люди мало менялись, условия жизни меня радовали. В августе меня вызвали, ещё раз спросили меня, — не надумал ли я работать у них, я сказал, что мне здесь нравится, и опять — про свободу «духа», что заплатил за всё сполна, что я даже боюсь выходить в тревожный мир, полный забот и трудного быта.

Через два дня меня выпустили — и не зря. Ещё через три дня — мы заключили союз с Германией; на газетных плакатах Молотов обнимался с Риббентропом, и войска — советские и германские — захватили несчастную Польшу. Меня, как «немецкого шпиона» сразу же выпустили. Немецкие шпионы перестали быть в моде!

Я ещё в ДПЗ узнал про этот союз. А узнал об этом у Б.П. Позерна, ленинца, прибалта, он сидел тогда. А до этого был председателем Ленинградского Военного Трибунала. На Шпалерку быстро всё проникало, мы жадно прислушивались!

Поздно вечером ворота передо мной раскрылись и затем захлопнулись, я остался один на улице Воинова. Дали справку, что я был с такого-то по такое-то число под следствием по ст. 58 п.п. 6, 8, 10, 11 и освобожден ввиду отсутствия состава преступления. Под судом не был. Мне выдали мои деньги, помню около 30 рублей, и я увидел проезжавшее такси, пустое. Подумал — надо покататься всласть по любимому городу; придти в себя. Часа три, наверное, я катался. Подъезжая к дому по Большому проспекту Васильевского острова, увидел — наши окна одни — ярко освещены! Мгновенно испугался, потом позвонил. Мама открыла. «Как отец, Наташа (сестра)?» — «Хорошо». «Почему все окна освещены?» — «Я тебя ждала!» — «Откуда ты знала?» — «Я ничего не знала, но сегодня почувствовала, что ты придешь!» Не помню, писал ли я, что она человек особо возбудимый, когда-то была лунатиком.

И вот я на своей постели, наконец!

Тогда я не знал прекрасных стихов Булата Окуджавы (может быть, они ещё не были у него).

*... Портрет, подсвечник, звяканье ключей...
Блажен, кто умер на своей постели,
Среди привычных сердцу мелочей.
Они с тобой как будто отлетели,*

*Они — твои. Но ты уже ничей...
Портрет, подсвечник, звяканье ключей,
И запах щей, и аромат свечей
И голоса в прихожей, в самом деле...*



1939, после освобождения

В первое же утро я ошарашил родителей и друзей сообщением о том, что с немцами будет заключен союз. Меня слушали, но не очень верили и считали, что я там маленько свихнулся. Но через два дня об этом было официально объявлено. Конечно, липовые немецкие шпионы стали бы в это время для Германии неприличны, надо было от них избавиться.

В первый день я пошёл к Наташе Грудониной, хотя по кратким умалчивающим замечаниям родителей, уже понимал, что дело моё — плохо. Мы долго, целый день, говорили. Я рассказывал ей мою жизнь «там» и почувствовал, что ей это всё чуждо; главное — для неё был её новый избранник, о чем она сама мне сказала. Поэтому я ничего не спросил её — ни мнения о моей поэме. С того дня я не встречал её в течение многих лет, и мы ни разу не говорили по телефону. И все-таки я рад, что в неё тогда что-то запало. Мне говорили позже, что она стала поэтессой, выпустила книжечку стихов, и что (это было после XXII съезда КПСС) выступала с горячей защитительной речью на закрытом процессе большого поэта — Иосифа Бродского (кстати, её отчество — Иосифовна). Словом, мы очень корректно и мило расстались. Нинушка успела выйти замуж на Юрку Корнева.

Привлекала тогда меня моя соученица Ира Цыгир, о чём я, как будто, писал. У неё была плеяда поклонников, из них два серьёзных — Лялька (Лазарь Владимирович) Штейн и Фред Брудер, из немцев, хороший спортсмен. Лялька тогда горько сетовал: «Теперь достаточно прыгнуть на 1 сантиметр выше, чтобы стать самым главным». Позже, во время войны, его (Брудера) с семьёй — родителями — интернировали в Сибирь, и он писал письма родителям Иры: «Дорогие, родители». Лялька в первые дни войны погиб — был лётчиком-испытателем на Дальнем Востоке и разбился. Потом мне и Кешке Карманову он так часто снился, что у нас возникала постоянная мысль — может быть, он куда-нибудь улетел на этот свет. Не знаю, дай Бог — если так.

Хорошо, что в те годы я не вел никаких дневников, и сейчас могу, наконец, вспомнить издали, на дистанции большого времени и даже, мне кажется, в «твёрдой памяти»... Отношения мои с друзьями школьными и химфаковскими всегда были хорошими, а теперь потеплели, мне кажется; я помнил, что мне никого из них удалось не посадить. Вкратце я рассказал друзьям близким, что со мной было — вдвоём. Тогда ещё не было дозволено говорить о таких вещах открыто. Славка Антонов всегда был на язык неосторожен. Помню, как он ещё в 1938 (или 1937 году), когда на химфаке, над деканатом висели два симметричных портрета:

Бубнова (нарком высшего образования) и Сталина, и утром комендант с лестницей пришёл один из них снимать, на перерыве, Славка во всё горло крикнул ему (он — заика): «Смотри, дядя, смотррррри не оши-би-би-би-сь!» Когда я спросил, воротясь, вызывали ли его в Большой Дом обо мне? Он сказал: «Да, и не раз!» Может быть, у него были какие-то свои счёты с ними, может он играл какую-то рискованную игру с ними — не знаю.

Когда наш комсорг, Гришка Шалтыко (его звали — Штаныко!) спросил у Славки — «вызывали его» — «Да» и меня тоже. «Тебя спрашивали, кто его лучший друг?» Славка: «Я сказал, что ты!» Гришка (это было у деканата) не успел добежать до мужского сортира и наложил в штаны. Славка торжествовал! В первые дни войны с немцами он ушёл на фронт разведчиком, и сразу «пропал без вести». Не знаю, может быть, ему удалось куда-то «улететь»; так долго и упорно после войны я видел его во снах, что, может быть, он стал официантом какого-либо ресторана? Не знаю. После войны я был у его матери, ученицы И.П. Павлова. Она не дала мне никаких сведений о Славке (а, может быть, побоялась). Так и не знаю.

На химфаке я досдал экзамены за 4-й курс (строение материи и др.) и сумел поступить на преддипломную практику в ВИЭМ, к академику Быкову, точнее, к профессору Георгию Ефимовичу Владимирову. Раньше я уже был на практике от ЛГУ в Радиевом Институте, где изучал спектры урана в дуговом разряде. Мне понравилась эта работа — спектры были очень занимательные, как кроссворд. Но теперь этого мне было мало. Мне хотелось скорее стать физиологом, хотя я понимал, что надо долго этому учиться, и я добился места в ВИЭМе. Шеф, Георгий Ефимович Владимиров, дал мне интересное задание — установить, почему объём эритроцитов в крови (лошадей), измеряемый методом гематокрита, отличается от объёма, полученного методом электропроводности, определяемого по теоретическому уравнению Фрике — Максвелла. Я поднял литературу и провёл серию опытов по измерению электропроводности дефибрированной крови. Я нашёл, что если перемешивать кровь при помощи электрода с дырочкой и измерить мгновенно — работает формула Фрике. Если же подождать короткое время — получается совсем другое, так как эритроциты собираются в столбики и статистически однородное распределение нарушается, и работает эмпирическая формула Стравинского. Шеф просил переписать работу («Без философии!» — сказал он), и в конце одобрил её. Мне пришлось перейти на один курс ниже. Там были тоже сильные ребята — Сторонкин, Рабинович,

Васильев Глеб, Юрочка Кондрашов (по болезни); Ирочка Цыгир тоже осталась по болезни. Я больше держался со старыми ребятами. Помню, как глубокой осенью умер от сердечной болезни профессор Тайпале, о котором я уже писал. Ему предложили за 10 дней уехать в Финляндию, — он был финн, финский подданный; поэтому ему не пришлось садиться в тюрьму, но всё равно — больное сердце не выдержало.

За гробом мы шли в сплошной дождь, в жуткую слякоть, от химфака — только двое — Любочка (теперь Николаева), она молодец, она тогда была комсоргом, и я. «Он пойдет за Вашим гробом в слякоть», как пел Вертинский (услышали мы его много позже). Грустно было. Мир праху твоему, Константин Александрович!

Любочка сейчас жива, мы с ней встретились этой весной (1988 год). Ира Самсонова (Цыгир) и другие заехали за мной на такси (сбор студентов нашего курса — Миллер, Кондрашов, Ира, Галя Галинская, Люся Маркович, Юля Кракау (жена Феофилова, покойного, мир его памяти!), Любочка Николаева, Володя Векслер и, может быть, кто-то ещё. Венька Рабинович сейчас умирает от рака, а Кешка весной умер...

Уже надвигалась финская трагическая война. Говорили в народе, что финны отказались «присоединиться к нам», как прибалты, и не приняли «руку помощи». Польша уже была поделена. Война началась в годовщину (5 лет) убийства Кирова. Меня она не коснулась; много полегло и русских, и финнов, больше русских.

Вспоминаю, как Лялечка мне говорил: «Вы, Димочка, человек неплохой, но ведь и Вы, как все другие, станете бить евреев; так всегда в России было!» Я горячо уверял, что — нет! Его слова оказались пророческими. Вся Россия, под негласной командой правительства, поднялась против них после Отечественной войны. А тогда, хотя мы и знали, что старые большевики были, в основном, евреями (Зиновьев, Троцкий, Каменев, Радек и другие), в тюрьме я видел их в нормальном проценте — не более трёх (не знаю про концлагеря).

Вина я тогда не брал в рот совсем, кроме больших праздников и нечастых встреч в компании. Ира ещё на 2-ом курсе ввела меня в круг семьи. По воскресеньям мы ходили к ним обедать. Отец — Нестор Зиновьевич Цыгир, из белорусов, вернее, западных славян, был ветеринарным врачом, любил книги по истории и южнорусским городам. Увлекался собиранием монет старинных, плакеток, медалей, бон (бумажных денег). Начал коллекцию ещё в Варшаве, где учился на медные гроши, и к тому

времени уже имел лучшую в Ленинграде частную коллекцию.

Этой весной мы с Танькой подарили приезжему из Белоруссии парторгу колхоза в Лядовичах, Юшке, принадлежавшую Нестору Зиновьевичу плакетку В.И. Ленина 1922 года, очень редкую. (Ленин запретил их печатать, при жизни.) Н.З. подарил одну Эрмитажу, одну — музею Ленина в Ленинграде. Одна сохранилась. Наш гость взял её для музея в селе, где живут наши дальние родственники (1988 год). Я потом видел массу благодарностей и грамот за монеты и медали, принесенные в дар Эрмитажу.

Мать, Вера Георгиевна Навменова, тоже с юга, из Белостока, из весьма интеллигентной семьи, долгое время была учительницей и очень любила книги, много читала. Был какой-то старый конфликт между родителями, но внешне всё было тихо, я только много позже в этом разобрался. Был старший брат, Авенир, и младшая сестра — Женя. Она в 1938 году кончила школу (я помню её ещё школьницей) и поступила на химфак ЛГУ тоже, через два года после Иры. Ира была любимицей, Женя была в тени — хохотушка; была своя компания у неё. Мы любили бывать в этом доме (с достатком, но без всякой роскоши) по воскресеньям за длинным обеденным столом — человек 25, в основном, студентов; бывали и по вечерам. Помню, позже, белой ночью, в 1940 году мы с Лялькой Штейном лежали на известняковых плитках (тогда в городе переходили на асфальт) на Басковом переулке против окон их дома (они жили в доме № 1 по улице Некрасова, напротив его музея) и думали: «Хорошо бы или нет, если бы их дом взорвался?» О войне мы тогда не думали после договора с Германией.

В противоположность Ире, Женя не умела подыгрывать под настроение и чувства партнёра. С Женей я познакомился, в основном, после отсидки, в конце 1939 года, когда меня всячески ублажали, дали подряд две путевки в Дом Отдыха во Мгу под Ленинградом, где мы с Ирой, Женькой, Юрочкой Кондрашовым, Лирой Назаровой (с нового курса), может быть, с Лялькой (не помню) всячески трепались, играли в карты (освоили новую игру — винт и бэзик) к неудовольствию директрисы. Много катались на санях с горок. Я пришёл к выводу, что мне надо перестроить стиль жизни, начать флиртовать, подходить к жизни легче. Но к этому я не был способен, и кончилось всё наоборот! Мне вначале показалось, что Женя — подходящая пара для этого. После Мги мы сдружились с Женей, и понял я, что она — не то, что я о ней думал. И чувство начало возникать очень тёплое. Я рассказал ей о своих «страстях человеческих» и понял, что это она разделяет,

понимает меня. Может быть, это было одной из причин, что я влюбился всерьёз и надолго в Женю. У неё было много кавалеров, я стал с ними знаком, и наконец, к весне 1940 года мне показалось, что я вышел на первое место. Всё быстро двигалось в ясную сторону, и весной 1940 года мы объяснились.

Ира, как старшая сестра, не могла этого не заметить, во Мге, и отнеслась к такой перспективе не очень одобрительно. Она убеждала мать, что это — не пара, что из меня ничего хорошего не получится. Женя, мне казалось, думала больше о том — не осталось ли в моей душе чувства горячего к Наташе Гр., я ей о ней сказал. Между тем, шла финская война. Объявили, что финны «первые перешли границу», что на севере Ленинград может оказаться под угрозой, и многие тогда ещё этому верили. Наши с трудом огромным пробивались через линию Маннергейма. Финны героически защищали свою землю, но всё же, неся огромные потери (едва ли можно было объяснить умирающему солдату — за что воюем?), весной 1940 года мы захватили их территорию на Карельском — дальше Выборга и северный берег Ладоги, — от Кексгольма до Сортавалы (Сердоболя).

Весною я много работал на практике в ВИЭМе и в июне сдал госэкзамены (у нас только они были); получил диплом (даже с отличием (!) физико-химика.



~ 1940, Евгения Цыгир

Распределен был куда-то в военное ведомство; они от нас отказались, и у меня было свободное распределение. Я постарался идти по своему намеченному плану, не имея никаких знакомств; было непросто, но мне удалось найти место в Ветеринарном Институте. Заведующий кафедрой профессор Натан Исаакович Шохор, долгое время бывший в командировке в Англии, увлекся там идеей применения физ-химии в медицине и взял меня, физ-химика, на должность ассистента на кафедру патологической физиологии. (В начале блокады Шохор был убит первой бомбой во Фрунзенском универмаге, где он укрылся.) Предмет меня не смутил — что я не знаю никакой физиологии, в том числе и нормальной — подумаешь! — у меня целое лето впереди. То, что надо было вести практические занятия со студентами 2-го курса, по два часа несколько занятий, каждый день, меня смущало больше, помня слова Гомбоджаба (Мергена) о переселении душ; но ведь он сам в Париже ставил опыты на животных. Мне надо было учить студентов, под микроскопом, наблюдать на брызжейке лягушки — как протекает воспаление, эмболия, красный и белый инфаркты. Только теперь приходит время каяться в тех тысячах лягушечьих тел, что я уничтожил. Но с гордостью могу сказать, что за весь учебный год ни одна студентка не догадалась, что я ничего в физиологии не смыслю.

И вот, я плотно засел, не видя ничего кроме, за книги и препаровку, до сентября 1940 года, и год работал. У меня было 6 быков в стойлах. Шохор им вшил в кишечный тракт ряд золотых (из Лондона) канюль, на разные участки, от верхних до задних, и я мог, не причиняя им страданий, шприцем вытягивать пробы — рН, электропроводность и прочее. Работа была интересная, новая, я не уверен, что кто-нибудь мог её сделать раньше, Шохор был артистическим экспериментатором. Не знаю — сделано ли это сейчас?

8. Отечественная война. Блокада Ленинграда. Казахстан.

Помню, мы поехали вдвоем с Женькой на одном из первых, тогда, поездов за Белоостров (бывшая госграница) в Дюны. Сели на бревне, на берегу залива, в сосновом лесу. Кругом не было ни души. Ранний август 1940 года. Солнечный день с лёгкими облачками. Женька сказала: «Я всегда очень боюсь, когда так хорошо!» Задумались о будущем. Она сказала, что мнение родителей она преодолееет, но как жить? Ни денег, ни комнаты, ни у кого из нас не было. Я стал получать 550 рублей (ассистент), не густо. Она кончила три курса химфака, (осталась по болезни). Ещё быков у меня не было, и денег они не прибавят! В общем, ясно было, что — не ясно — как это жить? Семья её была довольно дружной, несмотря на прошлые конфликты, во всяком случае ссор не было. Была там баба Паня, сводная сестра Нестора Зиновьевича (от одной матери, но разных отцов, от другого брака), она управляла всем домашним хозяйством, работала ротаторщицей в ЛенТАСС и очень гордилась, что с ночи узнает все свежие новости. Была ещё баба Женя (названные бабами потом, когда уже появились дети). Она вначале работала бухгалтером, а потом важно сидела у окна (на улицу Некрасова) с биноклем в руке, напротив «Гастронома» и сообщала, что мясо привезли и сейчас будут «давать», т.е. продавать.

Мне казалось, что на меня отец и баба Паня смотрят более благоприятно, чем мать. Ирина, как я уже писал, была любимицей. Её обаятельность привлекала многих поклонников, но ей не хотелось выказывать им свою достаточную практичность. Отцу и бабе Пане была ближе по душе Женя. Женя была хороша собой, привлекательна, весела, но на Ольгу Ларину не была похожа. А Иру баба Паня всегда называла «цыганкою», и это не звучало в качестве комплимента. Такова была эта семья, где отец все вечера сидел за столом, рассматривая монеты, а мать, в основном, читала книги. В доме всегда было много подруг сестер, кавалеров. Встречались интересные люди, например, Владимир Гаршин, племянник Всеволода. Он был коллекционер, патологоанатом, очень красивый мужчина с великолепной бородой, впоследствии — последний муж Анны Ахматовой; но я не был с ним близко знаком, мне приходилось работать в этот сезон (1940-41), чрезвычайно важный для меня, очень упорно, кромсая лягушек и извлекая химус и др. из моих быков. Изредка бывал в гостеприимном доме, проходя вместе с Женькой программу 4-го курса химического факультета. Надо сказать, что Женька не терпела шпаргалок и старалась во всем доискаться до сути. В этом, как позже выяснилось, она оказалась гораздо сильнее меня. С ребятами

своими я почти не виделся, никаких глотков и кружек пивных совсем не было. И у школьных ребят, и у химфаковских завелись серьёзные любви (Валерка, Колька Ал. и др., Славка Ант., Кашка, Юрочка Кондр., Лялька; даже граф Головин, встречая кого-то в аэропорту, увидел такую красавицу, что упал перед ней на колени на лётном поле со свойственной ему экзальтацией и был принят благосклонно). В общем, жизнь была мирная, и если бы не случилась война, неизвестно, что бы нам с Женькой было делать?

Запишу мои стихи, относящиеся к этому сравнительно тихому, после избытка страстей, периоду моей жизни.

*Я плыл больной, горячий, по теченью...
Река меня поймала и несла...
И, как в руке уж не было весла,
Так и в груди не стало направленья.*

*На берег. Лечь. Хоть маленький покой!
Прижаться к тверди б ласковой, прохладной!
Но берег ждал, колючий и громадный,
Уже вконец подточенный волной.*

*Я знал закон — притронешься слегка,
Смертельно рухнут грузные утесы!
А вдалеке, песчаный и белесый,
Другой был берег, ясный, как тоска.*

*Там можно лечь, забраться под туман,
Но не прожить; там не родной мне климат,
Бред начался... казалось, что отнимут
Весь горизонт, срастаясь, берега.*

*Но вышла ты, не знаю я откуда;
Не с берегов, не с неба, не с воды...
Я думаю, всегда, невидимая, Ты
Была со мной, когда мне было трудно.*

*Но в этот миг глаза раскрыла боль,
И я увидел девочку простую
С таким большим, хорошим поцелуем,
С такой прохладной, ласковой рукой!*

*Рука сняла весь бред мой, берег, тьму,
Легла на лоб. И все, что так тревожит,
Весь этот бред ушёл по ней, быть может,
Найдя дорогу к сердцу моему...*

*Я взял весло. Исчезли берега...
Рос горизонт, как мир, необозримый,
Я буду плыть. Пусть всё проходит мимо,
Лишь здесь, на лбу, осталась бы рука!*

Наступило 22 июня 1941 года — день рождения, мне 26 лет. Вечером, в субботу мы с Женькой пошли на Васильевский остров на свадьбу Мишки Медведева (они уже вернулись в Ленинград, и им дали комнату неподалеку от их старой квартиры, где в одной комнате жила Нинушка).

Помню, как наш школьный друг, Борька Цуканов («Цобка») вышел вечером с Женькой и мной на балкон и сказал: «Так у нас все хорошо получается в жизни, но у меня такое смутное чувство, что начнётся война, и я её не переживу». Действительно, недавно, в 1985 году я узнал от известного теперь, очень хорошего поэта, Вадима Шефнера, про конец «Цобки» (он был большим другом Цобки, ещё с раннего детства); Цобка в первые месяцы войны погиб от голода, под Ленинградом, на Ржевке, где строил военный аэродром (он был тучным). Сестра Цобки, художница, была в эти дни арестована и расстреляна, в условиях военного времени, как всегда, неизвестно — за что! Свадьба Миши была многолюдной, весёлой, хорошей. В 4 часа утра мы вышли с Женей в белое утро. Я провожал её вдоль Невы, пешком, на Некрасовскую, и мы удивились, что над Ленинградом пролетело много самолётов, хотя было воскресенье и никакого праздника не было.

Утром, придя домой, уже поздно, меня по радио разбудил голос Молотова, что немцы перешли нашу границу и война началась! Что было делать? Первое — я побежал на Андреевский рынок, напротив дома, откуда все торговки уже бежали врассыпную. На рубль, который у меня был, я купил кучу сирени — огромную охапку — и поехал с ней к Женьке. Никто не знал, что делать, куда (бежать)? В магазин, в бомбоубежище? У меня было предписание воинское — если будет объявлена война — через 48 часов явиться на призывной участок.



25 июня 1941 года

Я явился с вещевым мешком и, вечером, 24 июня 1941, отец с Женей проводили меня на Финляндский вокзал. Отцу понравилась Женька, т.к. она хорошо, хоть и медленно, играла в винт, а для отца — это было «свидетельством» выбора, рекомендацией. Мы поехали в Выборг. Белая ночь, тёмный лес. Помню ощущение щемящей неизвестности и разлуки... Терийоки (Зеленогорск), Мустамяки (Горьковское), Оллила, Выборг.

Об Отечественной войне очень много написано: о первом периоде, о первых днях неразберихи, первых и многих жертвах, о героизме наших русских людей и уже позже — «О доблести, о подвигах, о славе», но я, уезжая на фронт, был полон, в самые первые дни, горячим и твердым чувством: враг будет разбит, никакому внешнему врагу не поставит нас на колени.

Не стоит писать о войне мне подробно, ничего нового не скажу. Я не претендую ни на какие обобщенные впечатления о войне, о беспримерных лишениях, потерях, мужестве, героизме нашего народа. Но не было за эти дни ни одного дня и ни одной минуты, когда бы я не ощущал твердо: мы победим, победа будет за нами. Я и в первые дни понимал, что Гитлер, по масштабам — не Наполеон, потонувший в Российской шире, он напрасно надеялся на помощь Англии и пр. — им же важно было, чтобы никто из сторон сразу никого не разгромил, а потом они будут «посмотреть». И всё-таки, несмотря на многое написанное, я не могу обойти стороной ВОВ и постараюсь сказать только частные впечатления, мои, личные.

Был зенит солнца. Приехал я в Выборг в волшебную белую ночь, гораздо более светлую, чем в Ленинграде. Было ещё рано являться в часть, я пошёл бродить по незнакомому дивному городу с его величественным Нейшлотским замком, многократно отраженным в светлеющей голубизне его прозрачных вод. Забрел на кладбище. Великолепная статуя Скорби над финской могилой, ничего прекрасней я в жизни не видел. Привел меня в часть патруль; непонятным им было блуждание неизвестного типа, в форме младшего лейтенанта, в такой час, в таком месте, где уже с ночи летали немецкие самолёты. Меня строго спрашивал какой-то майор; фамилия моя явно внушала ему законные подозрения. Неизвестно, чем бы кончилось, могли бы и вернуть на кладбище; я понимал, что время военное, но к счастью оказалось, что майор кончал сам ЛГУ, спросил имена — у кого я учился и, получив ответы обстоятельные, убедился, что я не шпион.

Я получил назначение – начальником химической службы 4-го железнодорожного батальона, 9-ой отдельной железнодорожной бригады на Кексгольмское направление Карельского фронта. На второй день я направился на грузовой машине, один с шофером, поперек через весь перешеек, в Кексгольм (ныне Приозерск).

Великолепные места, озера, блестящие сталью и золотом, полное безлюдье после финской войны, укатанные шоссе из гравия, выпуклые посередине, указатели на каждом перекрестке с краткой схемой, фруктовые сады. Хорошо. Видно, не по-нашему жили финны.

Начсостав моего батальона оказался приветливым и весьма квалифицированным с хорошим путевым образованием. Мое отделение состояло из 10 хороших русских ребят и трактора с прицепом, на котором были средства химзащиты. Мы двинулись вперед, через Хийтолу на Эльсенваару, зная, что финны уже вступили, навстречу нам, на отнятую у них землю. Около Хийтола находили в подвалах бочки с мёдом и разной снедью (не разрешали есть и пить – боялись, что отравлено) и винами. Глушили рыбу гранатами, всё поедали и пили. Начались бои. Мы ещё не умели воевать, чуть ли не стреляли по своим, не разбирались в местности. Финны знали каждую тропку в лесу, каждое дерево. Пулеметная стрельба угрожающая. Вероятно, они развешивали репродукторы, чтобы нам казалось, что стреляют со всех сторон. И сейчас в Горьковской перед калиткой стоит старуха-ёлка, у которой верхушка спилена и верхние ветки поднялись наподобие лиры, и иногда зимой они рушатся и достигают крыльца дома (~ 10 м). Вероятно, там во время финской войны сидел «кукушка» – пулеметчик, простреливающий дорогу (хорошо, что не успел меня пристрелить, тогда – было бы «поделом»).

Потом мы, верно, попали в окружение. Вспоминаю поляну в лесу с плоскими гранитными глыбами; мы лежим на них (лопату некуда воткнуть для окопа!) всем батальоном, и по нам почти прямой наводкой бьёт артиллерия. Ощущение страшное. Врага не видно. Залп за залпом, люди падают рядом, двигаться некуда, только ждать, когда в тебя, или чуда! Потеряли почти половину состава, но из окружения выбрались. Начали отступать и свертывать рельсы «червяком». Это – два паровоза тянут огромный якорь под рельсами, и они сами скручиваются, как баранки, отрываясь от шпал. Был приказ мне в 23.00 взорвать мост через реку у станции Алхо. Должен успеть пройти наш поезд, последний состав. Я сидел, держа палец над кнопкой. Страшные минуты. Ровно 22.45 прогрехотал по мосту тяжелый эшелон.

Мысленно сказал: Слава Богу! Через 15 минут нажал – взрыв, остатки ферм взлетели вверх!

Потом помню, как пешком (трактор где-то плелся) мы прошли за сутки, по бездорожью (железная дорога уже была под огнем) около 100 км и дошли до Рассули и дальше, до Грузина. Это была уже исконная наша земля. Мы потеряли ещё около половины состава, поскольку отступали последними. Финны шли семьями, хуторами, со скотом за нами, чтобы убрать урожай и засеять озимые. Они не пошли дальше бывшей границы, как ни заставляли немцы их идти на Ленинград. Мы осели в Грузино, и я начал проситься у начальства – на денёк в Ленинград. Был уже конец августа 1941 года, и мы с горы видели огромное зарево над городом. Горели Бадаевские склады.

*Бежит туда, где ждёт его
Судьба с неведомым известьем,
Как с запечатанным письмом...*

(«Медный Всадник», Пушкин)

Получил командировку на трое суток в Рауту (Сосново) с пакетом в штаб бригады, через Ленинград и прибыл в знакомый дом. Вечер. Артиллерийские налеты. Бомбят. Женька – дома. Болят зубы. В маленькой комнатке она жила одна, родители были дома. Наутро я уговорил Женьку идти в ЗАГС. Потом она говорила, что я вынимал револьвер. Это верно, но я помню, что угрожал стрелять лишь в себя. В ЗАГСе смотрели, как на идиотов, но брак оформили, даже без паспорта, по военному удостоверению. В 18 часов я уехал с Финляндского вокзала в Райволу (Рощино). Никто не знал, где сейчас фронт? В Терийоки поезд остановили – дальше не пойдет! Пытался прицепиться к тормозной площадке уходящего товарняка – не удалось. Пошёл пешком вдоль дороги по лесу уже ночью. Знал что – около 5 км. Стрельба отовсюду; иду один. Добрался до штаба бригады. Утром узнал, позже, что товарняк простреляли финны на нужном уровне, и почти все, кто ехал в вагонах – погибли. Который раз спас меня Бог; на этот раз – в первую ночь после свадьбы! Пакет я вручил, наши уже собрались уходить. Так, ждешь месяцы, и менее чем за сутки совершилось великое событие моей жизни, под грохот бомб!

В памяти не сохранилась почти последовательность событий военного времени, тогда как предыдущие более запомнились, а детские годы особенно ярко запечатлелись. Это – известная всем закономерность (кстати, слово «закономерность» как-то не очень определенное, нет в английском (более точном) языке, есть там law – и всё) вполне, мне кажется, объяснима тем, что, во-первых,

чем раньше память воспринимает, тем она моложе, свежее, во-вторых — тем меньше она загружена последующим хламом. Так студенты изучают предмет, с тем, чтобы скорее его забыть, и правильно делают — это защитная реакция от сумасшествия — надо только, чтобы хоть немного — самого основного — сохранилось!

Помню, что в Райволу дня через два, пришёл приказ, что мой 4ОЖВБ (четвёртый, отдельный, восстановительный железнодорожный батальон) переходит в Ленинград на защиту города, и мне положено присоединиться к нему тогда-то на Крестовском острове в бывшем дворце князя Белосельского-Белозерского. Поскольку мы после свадьбы не встречались, и не было информации о времени и месте, оказалось, что мой трактор с палаткой и материалами стоял на Крестовском острове у выезда с Большого Петровского моста, а Женька провела ночь в бывшем дворце в какой-то другой части; но комсостав там был весьма галантен, и они мило поговорили. Через пару дней мы перебрались с трактором в парк 1 Мая (бывший Екатерингофский), где выкопали себе землянку и начали там жить, проводя занятия по химзащите. Мне удалось привезти Женьку (ещё на трамвае) туда же — на Малвинскую улицу (около Бумажного канала). Там оказалась покинутая жильцами квартира с мебелью в деревянном домике, и Женька питалась у котла, что было важно; уже начинался голод, настоящий. Две недели мы с ней прожили в этом заброшенном домике. Дивные ночи! Над крышей пролетали снаряды и рядом взрывались — летели от южного края Ленинграда, где уже были немцы, за Автовым, и били по городу. Мы лежали в домике и думали — всё равно, лишь бы вместе! И на двор ночью выбегали вдвоем, что «если убьёт — вместе!» Волшебные ночи, озаренные частыми взрывами и вспышками, с грохотом. Сейчас спрашиваешь себя — было ли это фантастическое действие — да, было!

Скоро нас перевели в Угольную гавань и там выкопали новую землянку с мощным накатом, в лесном порту у начала Морского канала. Ребята с кухней жили в землянке, и я с ними. Немцы окопались близко, около завода Пишмаш. Там, нас и немцев, у завода Пишмаш разделяло узкое капустное поле. Все были уже голодные, особенно немцы. Поэтому, по молчаливому соглашению, с 12 до 13 часов мы не стреляли, а они рвали кочаны; от 13 до 14 — они не стреляли, и мы пополняли свои животы. Мы были уже стрелками (на ж/д делать было нечего, пути сняли уже почти до Ленинграда), (ходили иногда в разведку) и я с ребятами — командиром. Помню, больше всего я боялся, чтобы кто-нибудь из ребят не перебежал на ту

сторону, тогда — хана — трибунал, и жизнь моя будет ещё раз кончена. Но этого не случилось, ребята были хорошие, и я старался вести разъяснительную работу правильно. Был я, в период отступления на Карельском, членом товарищеского суда комсостава (не помню, были ли тогда уже «офицеры»). Штаб бригады был на Мойке (рядом с Юсуповским дворцом), я близко познакомился с моим другим начальством — начхимом 9-ой бригады Подрезовым, он обещал, что раз в месяц будет вызывать меня в штаб, и я смогу ходить к семье. Прямое начальство были тоже приятные интеллигентные военные инженеры — майоры — командир батальона и комиссар (Бартенев). Но тут появились совсем другие «особые» люди, «особисты» (Особый отдел) и «смерш» (смерть шпионам), и им подчинялись все — и командир и комиссар. У нас был по фамилии Мастепан, с красивым, отвратительным лицом. Он сразу же приговорил к расстрелу одного из наших товарищей, мл. лейтенанта (забыл фамилию, на букву «В»), лишь за то, что он на три часа опоздал вернуться из увольнительной (побывал дома). Настоящая причина была другой — они часто схватывались в споре по политическим темам при солдатах (я не слышал, не знаю, что там было). Младший лейтенант был симпатичный, и всем в батальоне — командирам и солдатам — нравился. Меня как раз в этот день вызвал Подрезов на Мойку, к счастью. Рассказали мне позже, что солдаты отказались стрелять, и тогда эта гадина подошла и убила его выстрелом в упор. (Позже мне говорили, что потом Мастепана застрелили свои же, в спину; собаке — собачья смерть.) Мы с Подрезовым просидели вместе часа 4-е, почти всю ночь, он был в бешенстве и негодовании, выпили в «мёртвую» и я остался у него спать, даже к Женьке и к родителям не пошёл. До сих пор, в тяжелых снах, мне видится (хотя много смертей повидал с тех пор) это злодейское убийство, лицо младшего лейтенанта. Страшные были тогда времена!

Первый мой поход на Мойку был под ужасным эти впечатлением. Второй — от Угольной гавани до ул. Некрасова — более 10 км пешком. У Вольнкиной деревни попался один из последних трамваев (№ 8); — ехали с работы рабочие Кировского завода, он тогда действовал; вагон был облеплен людьми. Мне не удалось прицепиться, и я пошёл пешком (хотя по колбасе я был спец!). На следующей остановке я увидел, что в вагон попала бомба (или «снаряд» прямым попаданием), и было одно крошево людей — были «скорые», и я пошёл пешком дальше. Ещё раз судьба меня помиловала, почему — не знаю. А у нас в землянке ребята подобрали где-то голодного малыша. Оказалось, что он весь покрыт вшами. Убили более трёхсот штук,

кое-как вымыли... Под Новый год я опять получил командировку на сутки в штаб. Мороз трескучий, ниже -20°C , зима эта была особенно лютой. Решил зайти по дороге в баню, на Лифляндской улице — она ещё работала. Вечером — народу никого, один старик моется. Разделся, начал мыться. Вдруг страшной силы взрыв снёс полдома. Темно; где одежда — не видно. И слышу, мне кричит плачущим голосом старик: «Молодой человек, потрите мне спину!» Всё-таки к Новому Году я к Женьке поспел. За столом: дуранда и шроты (какие-то остатки от кусочков чёрствого хлеба), семья голодная. Было немножко водки. Выпили за наступающий 1942 год, за победу. Утром добрался до родителей на Васильевский остров. Голодные, слабые, у Наташи (сестры) началось воспаление лёгких. Лежит пластом. Нас на передовой во все дни блокады Ленинграда кормили прилично. Но суточный мой паёк, разделенный на столько долей, был ничтожный. А по карточкам уже давали всего по 250 гр., потом — 125 гр. хлеба, чуть сахара, масла и яичного (из крови скота) порошка. Голод уже свирепствовал, воду брали из проруби. Помню, приходя домой, я наливал цинковую детскую ванночку водой. Топили буржуйку какими-то щепками, книгами, прочим.

Несколько раз я шёл этим путем, ночью, при полной луне, мимо Медного Всадника (он стоял на своем месте, закрытый мешками с песком, охраняя, по поверью, город от злых чар). Ни души, ни людей, ни зверей я не встречал и далее шёл по тропе, идущей по льду, мимо



1941

дыр во льду от снарядов; тогда никто не думал — попадет в тебя или рядом; было то роковое «всё равно» (Блок) — полное безучастие, безразличие ко всему. Я шёл, вынув револьвер из кобуры, мимо трупов (часть без конечностей), некоторые примерзали к санкам у проруби. Говорят, что некоторых убивали и съедали. Но о беспримерной блокаде Ленинграда столько писали, что повторяться не стоит.

В один из моих приходов к Женьке, возвращался в часть около двух часов ночи по Литейному. На перекрестке у Невского, в полном безлюдье и морозной, лунной тишине, остановилась одинокая машина, трёхтонка; я вскочил в кузов сзади и лег; она была груженной чем-то, вроде дров, как мне показалось, при лунном свете. Оказалось, что я лежал на груди окоченевших покойников, в нижнем белье белевших под полной луной. Эмоций уже никаких не было, я понимал только, что мне надо не свалиться с этой груди на мостовую! Машина мчала по безлюдью, без фонарей, мимо Владимирской церкви по Загородному. Я понимал только одно, что нам по пути! У Красного Кабачка машина свернула круто к братским могилам на Красненьком кладбище, я пошёл пешком дальше. Я понимал, что я ещё жив и молод, что где-то почти рядом — Женька, что мы устоим, что меньше, чем 5 км мне идти, и меня ждет тёплая землянка в «три наката» и мои ребята, опалённые войной. В январе я попал в госпиталь, на Лифляндскую, с жестокой дистрофией и чем-то вроде холеры. Из меня шла вода отовсюду. Я резко был обезвожен, и врачи (я понял) меня списывали, но я ещё хотел бороться и требовал, чтобы мне давали пить физиологический раствор (0,85% р-р NaCl), вопреки всем указаниям врачей. Пил литрами, весу во мне было ~ 35 кг. В общем, в конце февраля я выполз из госпиталя, пошёл домой на Васильевский остров.

Оказалось, что мой отец тихо умер от голода и месяц уже лежит в Наташиной комнате (там было ниже нуля). Наташа ещё живая, лежит с крупозным воспалением лёгких. Хорошие соседи все-таки отоваривают наши карточки. Мама — совсем плоха. Отца, умершего 23.01.42, я на саночках отвез в братскую могилу — траншею, где вплотную складывали трупы в одном белье. Траншея была длинной, шириной в два роста и глубиной — 5-6 слоев людей. Умирало тогда больше 20 тысяч в день. Могила была в ведении типографии Академии Наук (на Васильевском острове). Позже я сделал могилу отцу, совсем рядом с этой на братском Смоленском кладбище, на горке, где когда-то мой отец был сторожем в сторожке, на огороде «Знание и труд» в кооперативе в 20-м году. Рядом сделала две могилы для мужа и матери — Ирина Фёдоровна Карпова, моя дорогая сотрудница.

Попав к Женьке, я узнал, что у нас родился сын, недоношенный, мёртвый. Женька была очень плоха, и вся её семья еле была жива. Мясокомбинат, где отец её в начале блокады собирал шампиньоны на скотном дворе, закрыли.

Наш батальон тут же (в конце февраля) отправили на отдых (без трактора, но с походной кухней) в Девяткино (теперь это северная сторона Ленинграда). Паёк нам давали (передовая) вполне сносный, и я хотел взять с собой Женьку, чтоб она могла подкрепиться хоть немного, у котла. Родители боялись, но в городе — следом шла смерть.

И вот я повез Женьку на саночках, 16 км в Девяткино, с коробкой-гробиком в руках. Сначала ехали хорошо, но уже недалеко от цели, началась такая жуткая метель (самый конец февраля), что дорогу на Гражданку (теперь Гражданский проспект) занесло полностью, и я почувствовал, что полностью потерял силы тащить санки с полуживой Женькой. И вот, ещё раз судьба меня пожалела, не знаю за что.

В густых хлопьях снега показались огни машины, идущей в Девяткино. Не помню конца пути. Мы поселились, как и весь батальон, в брошенных крепких избах; уже варился ужин.

Помню, на следующий день, похоронили сына на Муринском кладбище (Девяткино). Отчётливо помню прекрасную девичью головку над снежным холмиком. Оказалось, что это — не статуя, а отрезанная человеческая голова без туловища.

Страшные дни молодости нашей...

Женька, действительно, отошла на «эту сторону» на солдатских харчах, на гороховом супе. В марте пришло предписание — семьям комсостава можно было ехать по «дороге жизни» в тыл, под бомбами, под бредущими истребителями немцев. Больше сотни писем, Женькиных и моих, на фронт и с фронта, о первых днях блокады и во время разлуки — сохранились у меня.

Решили, что Женька поедет с Ирой и женой их брата Авенира, Валея. Родители их останутся с б. Паней в Ленинграде. Курс — в Куйбышевскую область, где жил брат бабы Пани с семьей, Денис. Мама с Наташей были бессильны ехать, намечали, что они поедут туда же позже 21 марта (помню дату, т.к. в следующем, 43 году, 21 марта родился наш живой сын, Олег).

Весной в Ленинграде стало полегче, весна оживила изможденных людей и все, кто ещё не умер, стали оживать, убирать трупы и мусор,

даже начинали копать землю в скверах под огороды; Всадник стоял, охраняя город, под слоем мешков. Нормы хлеба и пр. увеличились. Пошли первые трамваи. Конечно, блокада была плотной, и снаряды падали непрерывно, но немцы, видимо, уже не надеялись город взять, построили долговременную оборону, вероятно рассчитывая блокировать превосходящие силы Северных фронтов, отрезать их с тем, чтобы направить главный удар на юг (наступление на Москву было приостановлено) — на Волгу, на Северный Кавказ, пытаюсь добраться до нефтеносных сокровищ Грозного и Баку. Мы жадно слушали сводки информбюро с возрастающей надеждой.

Мы опять перебрались в Угольную Гавань, в нашу прочную землянку, где снаряды с воём летали через нас в обе стороны, и с удивительным безразличием слушая, как они рвались, часто рядом. Мои ребята (10 человек) все были живы. Я проводил занятия, беседы, убеждал в том, что победа будет за нами. После войны один из них, Боков, пришёл ко мне домой, мы крепко обнялись.

Иногда перестреливались через Морской Канал, иногда ползали в разведку. Я часто попадал в штаб, на Мойку, от Женьки вестей не было, мама и сестра понемногу приходили в себя. В апреле зашёл к Нинушке; они были ещё в Ленинграде, ждали водного пути для эвакуации. Отец её умер от голода. Мы поделились чёрным сухарём. Наташи Грудиной не застал, её мама сказала, что она работает в яслях, там и ночует, получает паек; у неё там дочка (или сын?). Муж, или кто-то в этом роде, — на фронте. Я нашёл её, и мы просидели всю ночь, разговаривая о прошлых днях. Я сказал, что нам хорошо с Женькой, но виделись редко. У меня создалось представление, что она не была в восторге от жизни. «Оттого и хорошо, что редко», — сказала она.

Нашёл свою любимую тётку Аню Баженову, актрису (другие мои тётки, Оля, Зоя и Нина умерли от голода). Тётя Аня потеряла свою любимую подругу (Елизавету Алексеевну), с которой вместе жила, осталась одна и перебралась в театр, где лежала где-то, наверху, в фойе, под крышей Ак. Драмы, в компании десятка актеров. Она сказала, что Мичурина-Самойлова хлопочет о поселении её в Дом ветеранов сцены, созданный Савиной, на Петровский Остров.

Так шли дни. В последних числах июня (30.06.42) мне дали поручение проверить наш пост около ст. Славянка (по дороге в Москву). За Колпино тогда шли бои, и наш пост был на передовой. Было уже летнее тихое утро. Я поехал с Московского вокзала на маленьком местном поезде. После Обухова на поезд обрушилась

бомба. Я выполз из разбитого состава и пополз один в сторону Славянки. Местность была открытой; вскоре — взрыв мины рядом со мной. Я успел удивиться — зачем по одному человеку бьют. От второго удара осколком меня накрыло. Я почувствовал сильную боль у виска, в руке, и неполную контузию. Лицо залило кровью, рука повисла в предплечье. Бинта не было. Удалось оторвать одной рукой часть рубахи и как-то наложить жгут, затянув его зубами. Выстрелы кончились, миномёт замолчал и я, полусогнутый, держа вверх левую руку, побежал, надеясь, что крови ещё хватит. Добежав до какого-то медсанбата, шатаюсь, лег. Меня тут же положили на операционный стол, сделав укол, и оперировали. Я просил скорее — влить кровь. Мне влили 250 грамм крови (потом мне дали краткую записку — от 18-летней девушки-донора, и я верил, что молодая кровь меня выручит); затем — полный наркоз и рука моя осталась там в поле (я очень просил морфия). Дальше, в тот же день меня привезли на пикапе в госпиталь в Ленинград, и через два дня, после перевязки (я потерял сознание от боли, был открытый, как веревка, нерв, потом вросший в рубец) я уже ехал в эвагоспиталь на Большую Землю. Успел в Ленинграде написать записку тестю, с трудом, впервые правой рукой (я был левшой и ел, и пил, и писал всегда левой) — что я жив и, как будто, здоров. Кровь этой девушки (дай Бог ей здоровья) как бы омолодила меня. Ехали мы буксиром от ст. Ладожское озеро на Кобону, вода была давно открыта и бомбили мало.

Помню, как на пристани, мы раздолбали ящичек с едой (идущей с Большой Земли) и наелись вволю, несмотря на запреты, сухого гороха и ржавых селёдок. Я помнил, что от гороха сухого в трюмах давление разрывает днища кораблей, но удержаться было невозможно! Многие из нас потом пострадали — понос и хуже. Потом долго ехали в теплушках. Висели гамаки для тяжелораненых. Многие умирали в пути. Медицинское обслуживание поставлено было хорошо.

Проехали с остановками: Сокол, Буй, Вятку, Челябинск, Омск, прибыли в Щербакты (около Павлодара) в госпиталь, где я пробыл полтора месяца. Степь — как море, с лёгким ветерком. Жара. Молодые казашки приносили к забору, где был госпиталь, вволю молока, хлеба, лепёшек, сыра — очень трогательно.

Тем временем списался с Женькой — знал адрес той деревни, куда они поехали. Лечение моё шло успешно, и меня выписали и демобилизовали. Предложили ехать и взять семью в село Семиярск, на Иртыше — директором мелькомбината в степь. Я согласился, сказав, что надо

обсудить с семьей, и в конце августа 1942 года поехал в Кинель-Черкассы, под Куйбышев, куда уже летом приехали мама и Наташа из Ленинграда. В Кинели мы встретились с Женей, Ирой, Валец, с мамой и Наташей. Я прожил там дней десять. Помню знойные августовские ночи. Мы спали на земле, под фруктовыми деревьями, полными плодов. Тут и был зачат будущий сын. Решили принять предложение — немцы уже подходили к Волге, и неизвестно было, как далеко они дойдут. И жить так, не имея работы (кроме с/х) на хлебниками, у дальних родственников, не имело смысла. Кормить 6 человек, без перспектив, было накладно. Не стоит подробно описывать наш трудный путь. Я был один мужчина и без руки. Мама с Наташей нуждались в поддержке. Вещей набралось много, поезд стоял две минуты на маленькой станции (Кротовка). Грузились с полотна без перрона. Бог помог, погрузились, поехали. От Омска ехали пароходом, по Иртышу, через Павлодар, в Семиярку. Иртыш великолепен, шириной — больше Невы. Прошли Ермак, где погиб великий русский первопроходец.

Семиярка оказалась селом, без церкви, на берегу, в бескрайней степи, с населением около 300 человек, в большинстве — казахи. Было несколько русских семей и интернированных во время войны, в «места отдалённые». Был там райцентр Бескарагайского района (Карагай — сосна, без — пять, по-казахски). Поначалу всё показалось хорошо — просторный дом, мельница, 20 штук быков — вместо лошадей, одна лошадь — для директора (меня), куры. Зерно привозили из дальних аулов в глубинке. Мука шла в Павлодар, часть потребляли на месте. Приняли нас приветливо. На мельнице был механик средних лет, Никитин, ведавший всей техникой, горький пьяница; приемщица — Ольга Маевская, из интернированных, трое рабочих. Мы решили сделать столовую на месте — Наташа стала поваром и зав. столовой, Ира помогала ей, Валя устроилась здесь же счетоводом. Хозяйство было запущенным, сена не было, начали умирать быки. Ужас.

Наступило большое горе, заболела Наташа. Она ещё в Ленинграде перенесла пневмонию и была совсем слаба. Лечил её местный врач, Генрих Гейне, из интернированных. Оказался грипп с интоксикацией центральной нервной системы. В местной больнице она через неделю скончалась. Мы с Ирой провели страшную ночь у её изголовья. Это был страшный удар для мамы, от которого она до смерти (1968 г.) так и не оправилась.

Дела всё становились хуже. Никитин пил, и с Маевской у них началась любовь (он был женат). Говорили, что они утаивали излишки

муки. Что я мог делать, если мельница была фактически в их ведении. (Счетовод Валя была слаба и дура.) Меня каждый день таскали — то к прокурору — он требовал, чтобы их двоих уволили и арестовали, но тогда бы остановилась мельница; то — в НКВД, которые угрожали меня посадить, если район останется без муки. Я ничего сделать не мог, т.к. не понимал в мукомольной технике, а специалистов во всем районе не было. Знал только, что в бункер с просом нельзя ступить, тем более упасть — просо скользкое — человек утонет с головой!

Кончилось тем, что Никитина и Ольгу посадили, меня уволили, взяв подписку о невыезде. Валя переехала в другой город, и мы поселились здесь, в деревне в одной комнате — мама, Ира, Женя и я, в саманном домишке (это глиняные стены, армированные соломой и обмазанные навозом). Начиналась зима. Мне хотелось настоящего дела, но фронт был далеко, наша страна готовилась к решающим боям.

Мы познакомились и потом близко сдружились с Антониной Евгеньевной Зайдель, интернированной, совершенно одинокой женщиной, возраста моей мамы. Ира и я брали у неё уроки немецкого языка. Она много лет провела за границей, знала философию и литературу; в ранней молодости встречалась с Блавацкой, увлекалась оккультными учениями. Женя в это время заболела малярией, лихорадка была почти каждый день, выше 39°C, была она беременна. Питались мы в обмен на тряпки и чай, присылаемые родителями Жени. Чай был там высшей валютой. Казахи не могли без него жить (до болезни), пили его целый день, с жиром и сахаром. Плиточный чай стоил тогда — высший сорт с золотой оберткой — до 1000 рублей за плитку (хлеб — около 100 р. килограмм, масло — 300-500 р.). Помню, как я в воскресенье выходил на маленький базарчик, садился по-казахски (турецк.) перед подстилкой и продавал разное тряпье, несколько колод игральных карт и пр., конечно — плиточный чай.

Антонина Евгеньевна изумила нас тем, что предсказала Ире будущее и рассказала в деталях прошлое. В холодные вечера (топили сухим кизяком, собранным в поле) начали заниматься спиритизмом с блюдечком, получалось здорово! Техника была простой; блюдечко, вверх дном, покоилось (со стрелкой, нарисованной чернилами) на листе бумаги с нарисованными крупно буквами. Мы садились вчетвером (Антонина Евгеньевна, Ира, Женя и я), клали 7 рук на блюдечко и минут 10 сосредотачивались. Потом блюдечко начинало шевелиться и наконец — быстро двигаться, скользить и задерживаться на какой-то букве. Получали внятные ответы от «духов» — живых

или мёртвых. Помню один ответ, позволивший уяснить загадку, над которой много бились — Менделеев, Бутлеров и другие. Вызвали по моей просьбе «дух» моего приятеля «графа» Головина, о котором никто из присутствующих ничего не слыхивал. Я не знал — жив или умер и где он? Я задал вопрос: «Попаду ли я в тюрьму?» К этому было близко! Ответ — в типичной для Кольки манере: «Я, но не ты». Вывод был один, кто-то из четырех был медиумом и бессознательно, когда руки уставали (и голова тоже), соприкасаясь, осуществляли движение за гранью ясного рассудка, ничего не сознавая. О судьбе «графа» я ничего не знал. Только после войны я узнал от его брата «графа Юрия», что Колька в первые дни войны напился и пропил всю амуницию и, что ещё хуже, винтовку. Тогда было, конечно, не до него, и он отделался легко — три года концлагерей. Но девица ждала его верно, и через три года они женились и были счастливы, где-то на юге. Больше я его не встречал.

Несколько раз я приходил в прокуратуру и домой к прокурору и долго разговаривал, просил отменить подписку о невыезде. Он — казах, лет пятидесяти, ко мне отнесся очень тепло, хорошо. Он знал, что — инвалид войны (тогда их было ещё немного), знал, что я не участвовал во взятках, хищениях, не обогащался, жил на чёрном хлебе (в деревне все знают о всех). Обещал мне отпустить куда-нибудь и в суд моё дело не передавать. Так я вторично «под судом не был».

21 марта, в 30-градусный мороз, когда все стены в домике были в инее, родился наш сын — Олег. Акушерки не было, и моя мама сама принимала роды. Его завернули в бараньи шкуры, и в них он пролежал до мая, ни разу не мывшийся. Семимесячный (вероятно, высокая температура малярийная, ускорила), но вполне здоровый, нормальный. Помню первую ночь, когда я бежал с ведрами на Иртыш (300 метров) пробивать прорубь в жестокий мороз. Он ни разу не мылся первые 1,5 месяца. Потом было паломничество к нему всех казахов деревни. Все целовали его, даже старики с провалившимися носами — дня три. Предлагали продать болу — ребёнка — за много мешков муки и масла. «Умрёт, самим есть нечего!» Но Женька не продала и выкормила грудью. Надо было что-то делать!

Забыл написать, что перед этим, зимой в начале года я поехал в областной центр, Павлодар (200 км) на лошадях по пенсионным делам.

Меня взял с собой зав. Заготскот, очень приятный казах — большой начальник — в глубине были тысячи никем не учтенных коров и овец, где-то у предгорий. Чуть мы не погибли в пургу, дорогу по степи полностью занесло, но лошади

сами довели нас до аула, где нас положили на кошмах спать, а когда проснулись, уже был заколот и варился в казане барашек, поставлен был низкий столик, мальчик с медным кувшином и полотенцем поливал на руки в юрте; мы брали свежие, нарезанные куски, сидя, поджав ноги; и прямо отваливались опять спать на кошму.

В Павлодаре несколько дней я жил, дожидаясь обратного пути, и забрел в клуб, где сыграл в шахматы с павлодарцами (не без успеха). Мне сказали, что у них есть игрок, который хвастал, что он — великий. Мы познакомились; это был Борис Маркович Верлинский, о котором я много слышал и читал. В 1925 году он одержал блестящую победу над чемпионом мира Капабланкой, до этого за 10 лет не поигравшему ни одной партии. Эта партия изумила весь мир.

Он был больной, глухонемой, неграмотный, являл ярчайший пример того, что шахматы — не наука, а искусство. В 1927 году он стал чемпионом СССР, получил первым титул советского гроссмейстера (о чём скоро «забыли», может быть не без помощи Ботвинника, занявшего 2-е место).

Мы сыграли с ним более десятка партий. Он брал рубль за победу, за проигрыш (что бывало редко) он, конечно, не платил. Публика смеялась над ним (кидала за шиворот селедочные головы и др.), но очень гордилась. Мне удалось выиграть одну партию и сделать две ничьих. Конечно, он был далек от прежней формы, когда Капабланка во время знаменитой партии был изумлен тем, что Верлинский мычал (партии он сам не записывал) и показывал ему язык!

После поездки у нас родилась мысль — добыть ребёнку козу или даже корову (в глубинке можно было купить корову за 10000 рублей). Мы продали кое-какое тряпье (одежду и пр.) и чая, и я отправился в поход. Перед этим была страшная угроза. Начал вскрываться Иртыш; на нем было хаотическое нагромождение сверкавших на солнце торосов, высотой — выше роста, по всей ширине могучей реки. Ждали, что половодье может снести наш ветхий домик. Пришлось на два дня перебираться на крышу соседнего, деревянного дома — маме, с полуторамесячным ребёнком, завернутым в овчину, Ире и Жене. Ужасная ночь с пушечным грохотом. Рушились глыбы льда. Но всё обошлось; хорошо, что было уже тепло. После этого я попал на три недели в больницу (инфекционный гепатит), почувствовал там, как блаженно пахнет земля, сбросившая мигом снежный покров, в отличие от наших северных широт, северных вёсен.

Итак, я пошёл в поход на рассвете, за 24 км. Заготскот сказал, что даст там мне хорошую, стельную, степную корову, но надо мне её привести самому и не упустить, иначе потом не поймашь! Я взял веревку и торбочку с деньгами и пошёл по степи. За барханами виднелись кочевые юрты и немало скотины. Мне дали корову с русским именем — Манька, я закрутил рога веревкой и тронулся. Но сразу эта дикая зверища повалила меня и потянула куда-то, наверное, к заливным прииртышским лугам, уже засверкавшим разноцветными пышными коврами диких тюльпанов. Что было делать? В моих руках была судьба сына, всей семьи.

Я закрутил несколько раз одной рукой веревку вокруг пояса, соединив зверя и себя, и она, шагом, поволочила меня, лежа, по гладкой степи. Мы были одни. Полдень. Я, лежа, стараясь не биться головой, вспоминал Илиаду. Потом уже ничего не помнил. Сколько времени она волочила меня — не знаю; но потом устала, сникла и стала покорной; теперь уже я тащил её за рога и с трудом привел домой. Она стала ходить в степь, где паслось деревенское стадо. Скоро она привела из степи чудного, смешного теленка, поминутно облизывая его.

Доить она подпускала только Женьку при теленке перед носом, при этом она его лизала. Мы получали 3-4 литра в день, что для ребёнка было вполне достаточно, при кормлении грудью, даже и Женьке, и нам доставалось. Коровы были дикой. Через месяц теленок умер. Доиться она перестала. Пришлось сделать чучело из его шкуры. Снова пошло молоко, бедная лизала чучело.

Удалось поймать несколько стерлядок на перемёт, что сильно улучшило наше питание. Картошку там не сажали. С удивлением глазели, как мы зарывали добро в землю. Но собрать не удалось, — стадо волов потоптало всходы. Просо сеяли; одинокий казах, верхом на жеребце, с торбой, скакал по нераспаханной степи, по целине; просо медленно сыпалось из торбы. И — всё. Солнце затем совершало чудо.

Летом я поехал в Семипалатинск (250 км) в поисках заработка. Сразу же получил, правда временно (людей было мало) должность зам. начальника штаба ПВО города. Самолёты туда не залетали, работа спокойная; сказал, что привезу сюда семью и с сентября буду работать.

Город Достоевского. «Семипроклитинск». Тот же Иртыш. Длинные прямые улицы, дома прочные, деревянные с садами, окруженные высоченными глухими заборами, покрытыми сверху устрашающими острями; за ними бесились своры собак. Я получил квартиру из двух комнат,

в только что построенном доме, деревянном, с хорошей печкой (всего в доме 8 квартир); дом стоял одиноко на самом краю города при въезде. Мне надо было ещё прожить одному недели три. Питался я хлебом и патокой, её мазал на хлеб. Патоку добывали с мясокомбината, через забор. Туда привозили цистерны с жидким топливом, и в те же цистерны, не моя, конечно, загружали патоку (которую варили неизвестно из чего, вероятно, из крови скота) для комбикормов. Я научился её переваривать и снимать керосиновые пленки. До сих пор вкус её, как будто, стоит во рту!

Я начал писать, развивать мои тюремные представления о Сансере, о «Единизации» и самопроизвольном локальном уменьшении энтропии, о творчестве, «о славе, о любви». Писал я на доступных брошюрках, поперек текста. Может быть, эти фантазии где-нибудь и сохранились. Сохранились (1988).

Вернувшись, стали собираться в дорогу. Барахла много набралось; ещё корова, куры, приبلудшая собака, мешок с шипишкой (шиповником), которую собрали на берегу Иртыша и пили весной вкусный чай. Но надо было запастись едой — на год во всяком случае (неизвестно, когда война кончится) для всей семьи.

Собрав кое-какую одежду, чай и прочее, я пошёл в дом, стоявший у проезжей дороги на мельницу (там уже был новый зав.), километров 7 от деревни. Я правильно рассчитал, что там могут быть запасы от проезжающих. Там жили казахи, приветливо меня встретившие и показавшие ночью целые закрома с пшеницей и зерном. Заночевал; вспоминал известные ситуации, но не боялся, что ночью зарежут. От казахов я ни разу не испытал никаких неприятностей. Они — как дети и не любят, когда с ними говорят свысока; а если говорить на равных, они относятся с симпатией. Мне удалось сменить на мои тряпки и чай три мешка зерна и 4-е мешка пшеница и уговорить это отвезти ночью на лошади домой. Этого должно нам было хватить на год. Нас было шестеро (Антонина Евгеньевна присоединилась к нам) и 42 предмета (не считая 7 куриц с петухом). Пароход ходил вверх нерегулярно, 2 раза в неделю, и мы ждали его двое суток. Договорились с подводой. Пристань в Семиярке не было; с берега к глубокому месту клали длинные гибкие доски. В общем, это была эпопея; но почти все были молоды. Алёшке было 5 месяцев, он лежал в железном корыте. Ночью, снизу раздался гудок, пароход начал подваливать к берегу («А вдруг не остановиться — бывает и так!», — боялись мы), наш табор осел на берегу. А как корову грузить?

Тёплая августовская ночь 1943 года. Ни одного огня на берегу. Спустили сходни — доски. Кому нести ребёнка по качающимся доскам около 50 метров над чёрной водой? Женька хотела только сама; но это было слишком рискованно. Молодой красивый казах — матрос взял на голову корыто с ребёнком и, грациозно балансируя, исчез в ночи, восклицая: «бала (дитё)». Собака без билета вскочила сама, куры были в клетке деревянной, корову — по шатким доскам. Пароход отвалил ...

В начале сентября начались холода и дожди. Дров не было (дом ещё сырой). Маньку пришлось продать. Она, даже с чучелом, давала не более 2-3 литров, и прокорм стоил 300 рублей в день — 20 кг сена. Она отоцала, и Антонина Евгеньевна продала её за свою цену — 10 тысяч рублей. Грустно было расставаться с ней. Забыл сказать, что утром, на пароходе, я с ужасом увидел, что куры выбрались из ящика и уселись, как на насесте, на низких перилах кормы, над бегущей волной. Но пшено позволило их всех собрать!

Собака (хорошая, умная, большая дворняга) скоро нашла где-то склад, где лежали мездры, и, глотая их и рыгая, стала очень упитанной. За те же 10 тысяч мы купили 10 кубических метров хороших сосновых дров. С пильщиками получилась неприятность. Они выпросили у меня бутылку денатурата (был для разжигания примуса), и хоть я сказал, что это сильный яд, они выпили и у них схватило живот. Мы очень испугались за них, но — всё обошлось.

Куры неслись. Женя начала хозяйничать в большой печи, научилась орудовать ухватами и под конец топки ставила пшённую кашу. Пекли лепёшки из муки; добыв 2 жернова, мололи муку.

Мне пришлось вскоре уйти с временной работы (нашёл инвалид, чином повыше), я поступил в Ремучилище, где учил неграмотных деревенских девок русскому и арифметике. Они меня совсем не слушались, но после того, как я излил на них весь запас матерной ругани — мы подружились, и полгода я преподавал с успехом.

Ира поступила на мясокомбинат лаборанткой (на другом берегу Иртыша) и изредка приносила паёк — мясные кости. Алёшка рос.

Узнали из письма о гибели Ляльки Штейна при испытании нового самолёта. И Ирка, и все мы очень горевали. Ведь он был её мужем (может быть фиктивным)?

Антонина Евгеньевна осталась там. Потом мы долго переписывались, она прислала мне фото.

В последнем письме написала, что скоро, видимо, оставит этот мир. Тяжело умирать на чужбине совсем одинокой, бодрой духом женщине, мир праху её! Нашу собаку убили, застрелили. Оказалось, что под нами (мы жили во втором этаже) жила компания бандитов, зарезавших уже несколько человек, и наш чудный пёс явно мешал им. Их всех посадили.

Как-то осенью пошёл на базар уже к концу дня – с чаем – поменять на хлеб и масло. Шёл дождь, народу было мало. Цены обычные – чай в золотой обертке – 1000 рублей пачка, масло, сало, мед – 400 рублей кг, хлеб – 100 рублей кг, молоко – 20 рублей литр. Но молоко мы брали неподалёку, козье, иногда и козий творог, из которого делали сыр, каменный, по-казахски. Ещё в Семиярке мы видели, как комки творожной массы кладут на крышу, и всё лето они сохнут. Потом его (сыр) вместе с салом кладут в чай и пьют целый день. Пробовал – неплохо, когда привыкнешь!

Так вот, пошёл я к городу с базара один, под дождём. У меня уже был первый протез, деревянный, тяжёлый. И на наружном ребре ладони, под перчаткой, была свинцовая пластина. Подошли трое, один начал явно плохой разговор, недалеко уже виднелись дома, окруженные высокими заборами, но помощь ждать было неоткуда. Я ударил его по голове, наотмашь, протезом. Он упал, второй начал поднимать его, а третий – побежал к базару, назад. А я – к городу. Тем и кончилось. Надеюсь, что он очухался!

Поздней осенью в наш дом вселилось около полсотни чеченцев, с детьми, в самом жалком состоянии. Говорили, что когда немцы вступили на Сев.Кавказ, они поднесли Гитлеру белого коня, украшенного сбруей и чеканкой из чистого золота. За это Сталин всю эту маленькую нацию, от мала до велика, выслал в «места отдалённые», без одежды, без вещей, с малыми детьми, постепенно умирать. И они умирали. Есть было нечего. Женьку они признали за свою – чеченку и очень привязались к ней и к Алёшке. Но еды не было. Старались мы их подкармливать – лепёшками, мясными костями, сколько было, яйцами. Но большинство умерло. Скоро они быстро куда-то исчезли – живые.

Наступила зима. Непривычные для северян, ярко оранжевые краски неба над Иртышем, в воздухе – сверкавший под солнцем иней, мороз – ниже -30°C . А в пургу – не пройти ни одного шага, только ползком.

Боялся за Иркут. После вечерней смены надо было пройти 2 км от ж/д станции, вдоль глухих заборов, где – ни души; только вопли собак за

оградой. Старался встречать её. Алёшка рос.

Поступил я на работу, ассистентом на кафедру общей химии Ленинградского института Холодильной промышленности, который оказался здесь очень близко, за рекой при мясокомбинате, к профессору Ловягину. Он был очень больной, пожилой и видимо неплохой человек, неглупый и вполне интеллигентный. Через год он умер, уже в Ленинграде. Засел я за окислы и соли, Периодическую систему, реакции (Ox/Red) с участием электронов. Книжка была.

Сводки Информбюро становились всё более вдохновляющими. Мы уже на некоторых участках подошли к госгранице. Гибли уже миллионы жизней. Открылся второй фронт. Мы никогда не сомневались в победе, теперь она становилась реальной. Приближалась весна 44 года, и жить, как всегда весной, становилось легче. Алёшка начал ползать. Весной пошли разговоры о том, что ЛИХП может быть скоро поедет в Ленинград. У директора, Ткачева, были какие-то прочные связи, а главное, холодильное дело нужно Ленинграду, который уже освободили от блокады. Родители Иры и Жени – здоровствовали. Главной задачей было – взять Иру в эшелон, трудное, т.к. она не была членом моей семьи. Возможностей для каких-либо подарков практически не было. Но Ира была сестрой Жени и сотрудницей мясокомбината – не чужая. И это – с трудом, но удалось. Стали готовиться к дороге к дому. Скарба осталось очень немного, особенно продуктов, но 5 человек – немало! Наступил долгожданный день. Июль 44 года. На ветке, идущей от вокзала, сгрудились пестрой лентой полинялые обшарпанные пассажирские, когда-то зелёные, вагончики и красные теплушки. Резко началась невыносимая жара; много выше $+30^{\circ}\text{C}$. Достали тачку и ломаную колясочку для малыша. Горячий песок под ногами. Колеса вязнут в песке. Ира у ветки, спешит занять какие-то места. Я везу полную большую тачку, колесо вязнет по ступицу. И вот тут, на полпути, чувствую, что не могу ступить дальше ни шагу. Тут-то и начало шалить сердце. А времени осталось меньше часа до прихода локомотива. Ложусь на раскаленный песок... Трое – ещё дома. Не помню, как дотащил, и надо было ещё вернуться за ними. С коляской (мама – под руки) пошло быстрее. Но уже паровоз подан. Мы пришли последние. Антонина Евгеньевна проводила с помощницей, забравшей коляску и тачку. Поезд тронулся... Сказали, что нам будет «зелёная улица», и мы за две недели доедем. Это была, конечно, «мечта поэта». Дорога шла по Турксибу, где проезжал в романе Остап Бендер, но времена были другие, шла война, и надеяться на какой-либо график было нельзя. Прощай, «Семипроклетинск»!

Довольно бойко, мы за ночь добрались до Рубцовки, станции, недалеко от Бийска в предгорьях Алтая. Но нам было не до окружающих мест. Да и одна только выжженная степь кругом виднелась. Зной нестерпимый. У нас были лепёшки, пшено и немного молока. Но молоко за ночь скисло.

В Рубцовке объявили, что эшелон будет стоять 40 минут. И мы решили (моя инициатива), что за 30 минут мы успеем добежать до ближайшего базарчика и купить молока! И вот мы с Женькой, в лёгкой одежде, без денег (только на молоко), без хлебных карточек — рванулись вдвоём (день был воскресный!), без документов. Молока не нашли, в ближайших домах — тоже.

Подбегая к станции, услышали шум уходящего нашего эшелона. Вскочить не успели. Начальник станции посочувствовал нам и сказал, что через два часа пройдет на Новосибирск товарняк с углём, и на дальнем пути на минутку остановится — надо сменить паровоз. Идёт поезд прямо на Новосибирск без задержки — попробуйте вскочить на него, где-нибудь эшелон догоните! С пустым бидончиком, присмирившие, сели ждать. Уже к вечеру пришёл товарняк, и нам удалось вскочить на тормозную

площадку. Перебрались кое-как на гружёную углём и дышащую угольной пылью длинную платформу, легли на мелкий уголь. Поезд мчал по безбрежной степи; началась холодная ночь. Нас пронизывало холодным чёрным угольным ветром. Думали, что где-то спешат к Ленинграду — Алёшка (год и три месяца), мама и Ирка!

Хоть бы крошка хлеба, хоть бы бутылка воды! Мёрзнем. Бьёт крепкая дрожь. Поезд, как озверелый, с грохотом мчит сквозь степь. Наступило жаркое утро. Отогрелись, лежали на угле, голодные вдрызг и чёрные, как негры. Состав мчал без остановки. Мы были одни в этом удивительном мире, где-то недалеко перед Обью. Но мы были молоды, сильны, чувствовали, что скоро будем дома, и даже Женька не сильно ругала меня за это непреднамеренное отставание.

Степь. Жара. Грохот состава... До сих пор ещё, в ночных кошмарах, я слышу этот несмолкающий грохот сотен гружёных платформ. Может быть, и до Женьки, в другом мире, он доносится тоже... Прошла ночь, такая же, но уже вторая.



Помню, перед Обью я отправился на дальний конец платформы «оправиться» — армейское слово. С одной рукой мне всегда это было нелегко, а здесь особенно, под тряску безрессорных платформ. И вот, я «устроился», но оказалось, что крюк на задней стенке не был плотно задвинут и вот — стенка начала медленно отступать... я повис на одной руке, вернее зацепил левым локтем, протезом, продольную рейку, повис над рельсами между платформ... Последнее, что помню: мысль, что Женька останется одна. Нечеловеческим (такие редко, но бывают) усилием рванулся вперед и упал на гору угля. Судьба пощадила и на этот раз! И сразу загрохотал двухкилометровый гигантский, чёрным бредом, переплёт моста. Обь! Конечно, теперь, в кошмарах, через 42 года, я явственно вижу медлительную отходную чугунной стенки над чёрным провалом между рельсами грохочущего — где-то над Обью товарного поезда. С тех пор я несколько боюсь поездов и отхожих мест. В Новосибирске, через двое суток, мы влетели на товарную станцию. О нас уже знали по телефону, и маневренный паровоз подкинул нас на вокзал. Наш эшелон должен был вот-вот отойти (шёл тоже без остановок). Мама и Ира были в полуобмороке, Алёшка спокойно лежал, обихоженный. От Семипалатинска до Ленинграда мы прошли за десять суток, что по тем временам было очень быстро!

Наконец, 1 августа 1944 года, наш эшелон прибыл в Ленинград, по ветке, в тупик у Новодевичьего монастыря, около Забалканского (Международного-Сталинского-Московского) проспекта.

В первые дни я пошёл к Ивану Ивановичу Жукову, которого я немного знал — он читал мою работу по электропроводности крови, получившую студенческую премию — спросил, нет ли какой халтуры (переводов и др.); он поморщился, сказал что подумает, и через пару дней предложил мне идти к нему в аспирантуру. «Но ведь у меня нет руки!» — «Но, может быть, голова есть?» — сказал он.

Потом я кончил аспирантуру, стал кандидатом, затем доктором наук, профессором, заведующим кафедрой коллоидной химии. Но об этом писать уже не интересно. Первые 30 лет жизни записать мне удалось.

Самым страшным ударом за эти сорок с лишним лет был уход Женьки из жизни (1971 г.). Об этом есть несколько странных записей, где-то, и пись-ма к моей ученице Марианне Сидоровой, которая в то время была в Болга-рии, год на стажировке, и её письма меня сердечно поддержали. Слова напи-санные действуют сильнее, чем сказанные. Письма дали мне жить.

Началась крепкая дружба. Лет 10 тому назад начались бессмысленные разговоры на эту тему: для этого не было никаких оснований, но я не мог оправдываться, поскольку в лицо ничего не было сказано. (Как в тюрьме — не доказать «что я не верблюду».)

Виноват в том, что мне не удалось тогда скрыть той огромной симпатии, того, что дальнейшая моя жизнь пошла под знаком Марианны — по-настоящему благородного человека, обладавшего неведомыми для меня ча-рами, среди встреченных мною на жизненном пути.

Приведу по памяти один из её стихов, показывающий различие между подлинным творчеством и стихосложением (попавшим на страницы записок).

*Скучно, когда человек о судьбе
Знает всё наперёд...
Вечером чёрным, по чёрной воде
Белый движется лёд.*

*Знаю, жар-птицу в небе поймать
Стало ещё трудней...
Вечером чёрным, по чёрной воде
Белые свечи огней.*

*Счастье — это дорога назад,
А может быть — путь вперед!
Белые свечи из чёрной воды
Белый выносит лёд.*

О живых не пишут «Года идут, года меняют их» (Есенин), но я верю в то, что главные основы личности закладываются до рождения на свет.

После Победы (1945) родилась наша дочь Таня. С нею и её детьми, моими внуками — Димой, Кешей и Женькой — я сейчас живу одной семьёй, мирно и, по-моему, хорошо. Этим можно кончить первую часть записок. Я рад жизни, рад, что удалось записать, хотя бы в отрывках. Может быть будет интересно прочесть мою жизнь кому-то из близких или потомкам. Дай Бог! Ведь мы так мало знаем о наших дедах и бабках; а время было необычным...

9. Родные и близкие

14/X 1988

*Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя...*

(А.С. Пушкин, «Евгений Онегин», посвящ.)

Лучше Пушкина не скажешь.

*Я думал уж о форме плана
И как героя назову;
Покамест моего романа
Я кончил первую главу;*

*Пересмотрел всё это строго:
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу...*

(А.С. Пушкин, Евг. Онегин, I, LX)

Мои воспоминания хочу озаглавить «Мои пути» (Mine ways) в отличие от записок (дневников, которых я не вел почти, а что было, сжёг), далее пойдут «поденные записки», что я веду с осени 1986 года по настоящее время. (Когда-то у меня была книга «Поденные записки блаж. памяти имп. Петра I», издание 1726 года, но я её в свое время (в 1937) проиграл в карты.

Отсюда и название). Опять не могу без Пушкина:

*Пора: перо покоя просит:
Я девять песен написал;
На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал.*

Хвала вам, девяти камням...

(А.С. Пушкин «Евг. Онегин»,
отрывки из путеш. Е.О.)

Пушкин исключил эту главу (чудесную) из романа, а мне остается продолжать. (В словах «На берег... девятый вал» есть нечто карточное).

Так вот, о моей семье я уже писал раньше, но появился новый её член; во время нашего возвращения из Казахстана (после Рубцовска, где мы вновь соединились), (я поступил в аспирантуру ЛГУ позже) зачалась наша дочка Танька (с которой я теперь живу, после кончины Женьки). Родилась она нормально, вовремя, 25 мая 1945 года в роддоме на Маяковской (в «Снегиревке»), не на берегу Иртыша, как Алёшка.



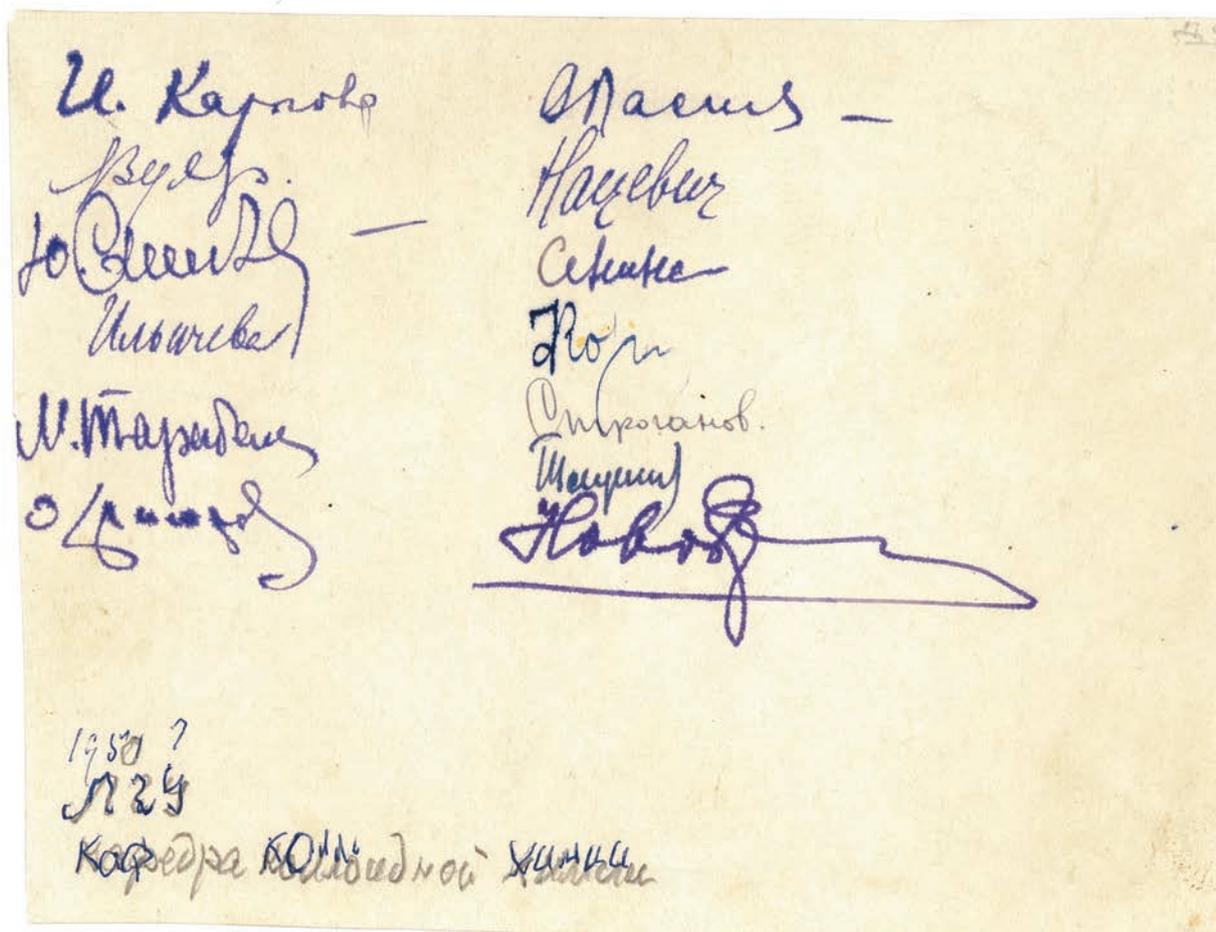
1950, кафедра коллоидной химии ЛГУ

В начале моей аспирантуры мы нередко играли в «винт» в «новой» компании (Галя Вязмитинова, Женина подруга по ЛГУ, её муж Илья Баславский; Татьяна Буссен — жена Володи Зака, шахматного тренера, Володя, Люда Руденко (вскоре она стала чемпионкой мира по шахматам), Георгий Францевич Кацкаль, Готгильф (шахм. мастер), Гольдберг (шахм. мастер) и др. В вечер 24 мая Женька объявила «большой шлем» в тrefах (редкость), но я (играл с ней в «паре») увидел, что ей нехорошо, но она успела доиграть шлем (взяла 13 взяток), и мы сразу, ночью, побежали в роддом (Галя жила на Литейном пр. на углу ул. Пестеля), он оказался закрыт, и мы помчались в «Снегирёвку», (уже схватки начались) и через 2 часа появилась на свет наша дочка.

Аспирантуру я благополучно кончил, под детский плач, и кандидатскую защитил в срок (тогда это было важно) в апреле 1948 года, ещё при жизни моего учителя И.И. Жукова. Он был доволен этой работой и даже хотел просить Учёный Совет (тогда Иван Иванович был директором Химинститута) присвоить мне степень доктора (как перед этим Сторонкину). Но это было неловко, т.к. более старшие товарищи мои (Григоров, Новодранов, Маркович) ещё докторами не были и, я думаю, это было бы преждевременным. Через год (1949) Иван Иванович скончался скоропостижно, на даче под

Москвой, куда они поехали с Зоей Петровной (женой И.И.) отдыхать. Я стал кандидатом хим. наук, ст.н. сотрудником, и поскольку у меня было двое детей (в квартире, превратившейся через несколько лет в коммунальную), а я был инвалидом Отечественной войны, мне удалось получить разрешение на совместительство от декана Колбина. «Чудо, чудеса, Колбин-колбаса», — как говаривал Сергей Ал. Щукарев, острый на язык («втирает очки в ступке», про кач. анализ, который вел Колбин). Но о химфаке я писал «воспоминания», может быть, ещё удастся напечатать их на машинке.

Я поступил на работу (на ½ оклада) в только что созданный институт Физиотерапии и Курортологии, директором его стал Николай Николаевич Мищук. Но об этом после. А на кафедре надо было срочно корректировать книгу, написанную покойным Иваном Ивановичем, писать новый практикум и по вечерам заниматься ионофорезом (я стал в ИФик зав. лаб. биофизики, биологические идеи меня не оставляли); я ещё стал членом редколлегии «Справочника химии» вместе со стариком Юрием Витальевичем Морачевским (отцом Лёши; тогда Ю.В. стал зав. каф. аналитич. химии); ещё молодым тогда Олегом Николаевичем Григоровым, Б. Порай-Кошицем, Позиным и рядом других



1950, кафедра коллоидной химии ЛГУ (оборот)

(теперь покойных). Там я взял на себя таблицы растворимости; это требовало большого внимания и труда. Дома мне пришлось отоваривать продуктовые карточки (иногда «давали» солёную треску и сухой яичный белок (из крови), реже — мясные кости). Надо ли удивляться, что в те времена работать было трудно; только кончилась война, и много было разрухи. Хорошо хоть, что с одной рукой не надо было хлопать вожжю, когда произносили (часто) его имя. Старался работать на нескольких фронтах сразу. Написал статью по положительной и отрицательной адсорбции, дипломные работы; у меня появились первые дипломники — Гутман, Шишкин, Липшиц, Се-Юань-Цай, Гинзбург; многие их работы мы напечатали; но работать в этих условиях было нелегко, под писк двух младенцев. И всем дипломникам надо было помогать (а на химфаке — в аккумуляторах замерзали растворы H_2SO_4 и $NaOH$). Но мы были ещё тогда молоды. Я стал доцентом (после отъезда Юрия Калининского в Китай) и зав.практикумом студенческим, вплоть до защиты докторской (т.е. 16 лет). Дети росли (где-то в архиве есть тетрадка с записями их разговоров). Позднее, вечером иногда встречались в «винт». Помню, как на даче (Рождествено, 1948) Женька швырнула карты в лицо Илье Баславскому (и была права), он остолбенел и начал под столом их собирать! А летом играли иногда 2 суток подряд (винт), когда приезжали Заки. Женя играла «медленно» (тут Илья был прав), но верно, правильно. Отношения наши были хорошими; иногда спорили между собой и с тётцей (мы оба перед ней защищали наш общественный строй). А между собой, Женька считала, что надо строже спрашивать с детей.

Может быть, мы оба были правы в какой-то мере, «но золотая середина всё не давалась ему». А сейчас я вижу, что оба выросли хорошими и жаловаться не приходится, особенно в наш век карьеризма и мещанства. Они не требовали (также, как и внуки) в детстве дорогих игрушек или конфет, а позже — радиол, проигрывателей, мотоциклов, автомашин. Учились оба без блеска, но прилично (не на круглые «5»), но оба, позже, в ЛГУ, получили дипломы с отличием. Но дальше после школы путь их пошёл нелегче моего.

Во время аспирантуры у Ивана Ивановича я жил фактически н два дома, особенно после того, как стал работать по совместительству в ЛИФИК (Ленинградский Институт Физиотерапии и Курортологии) на ½ ставки (у Николая Николаевича Мищука), защитив кандидатскую диссертацию. Жил на два дома: 1. жена и её родня, 2. моя мама, Вера Болеславовна, маме удалось пережить и родителей Женьки (Женька скончалась в 1971, мама — в 1968, Ирина Федоровна — в 1969, тётя Аня — в 1967 (?); мама переехала в Женину семью уже около 1966 г.). Я как будто писал, что во время блокады, иногда (примерно раз в месяц), от родителей Женькиных приезжала её сестра Ирка с маленькой «посылкой» — пара сухарей, и, иногда, судочек с похлебкой (без «навара») от бабы Пани, чтобы как-то поддержать маму с Наташей, лежавшей зимой 1941–42 г.г. в холодной постели с крупозным воспалением лёгких. Женька тоже в ту зиму вначале не вставала с постели от голода. Осенью ещё были шампиньоны, которые мой тесть собирал на бойне, идя с работы. Но к зиме мясокомбинат закрыли, и работы не было,



~ 1950, дети Олег и Татьяна

да и не до работы было — начался голод и трамваи не ходили.

Иногда (примерно 1 раз в месяц) меня майор Подрезов (мир его праху, если умер, чудесный был человек) вызывал в штаб бригады, и я заходил и к маме, и к Женьке, приносил по несколько сухарей и очень редко — по одной баночке тушёнки и по бутылочке спирта (его можно было менять на хлеб). Очень медленно Наташа поправлялась, после того, как папа мой умер (о чем я писал выше в п.8) и Ирка навещала их, пока Женька с Ирой не уехали в Куйбышевскую область. Весной я к ним приходил, обычно наливал в комнате детскую ванночку (цинковую) водой (таскал ведрами с Невы на саночках); сосед отоваривал карточки (врач Сычев, он лечил Наташу). Приходя, я ещё колот мебель (стулья и пр.), чтобы натопить «буржуйку» и шёл через Неву, по льду, к Женьке.

После того, как меня ранило, меня сразу отправили после операции в эвагоспиталь, через Ладогу, в Сибирь, в Щербакты (под Павлодаром). Мама с Наташей остались одни; им удалось (в июле 1942 года) уехать тем же путем (через Ладогу) уже на обычном поезде, добраться до наших (Женьки с Ирой) в Куйбышевской области к деду Денису, куда и я после лечения раны и демобилизации в августе или сентябре 1942 года до них добрался. Так что остатки моей семьи собрались вместе на Волге. А родители Женьки и бабки — Паня и Женя — остались в Ленинграде, где, хоть блокада и не кончилась, но голод уже прекратился. Попков и Кузнецов и наши войска его отстояли. Только в 1950 году рука Сталина до них добралась. Их расстреляли, как и многих из тех, кто воевал на переднем крае. Грустно вспоминать и блокадные дни, и послевоенные годы уничтожения почти всех, кто тогда выстоял. Только теперь, после 1985, память о них начинает приобретать свои права. Вспоминаю Наташу. Её беда (помимо болезни) была и в том, что по паспорту она числилась немкой (а я — русским, хоть с немецкой фамилией), и ей (уже весной в 1942 году, когда была больна) предложили уехать куда-нибудь в места более «отдалённые», чем Ленинград, но бюллетень по болезни её спас (врачи тогда не ходили, но сосед — Сычёв — он был участковым врачом — подтвердил справкой её действительную, жесточайшую пневмонию; потом уже некому было её искать (весной 1942 года все поумирали, а оставшиеся считали, что она умерла). Так она со своим «немецким» штампом в русском паспорте добралась до Куйбышевской области, а потом и до Семиярки, куда мы все вместе приехали в первых числах сентября 1942 года, где и начали «новую жизнь». Я стал директором мельницы,

называвшейся Мелькомбинатом Бескарагайского («пять сосен» в переводе) района. Ирка стала дворником, Женька (у неё началась беременность) — лаборанткой, их свояченица Валя — счетоводом, Наташу мама и мы уговаривали отдохнуть после тяжелой болезни, но она наотрез отказалась. Тогда Наташа предложила сделать на мельнице небольшую столовую для «своих» т.е. для троих сотрудников, О. Маевской (из переселенцев) — бухгалтера и учётика, Никитина — мастера (мукомола), Кадара (венгра — однофамильца современного лидера-секретаря ЦК партии Венгрии) и нас всех, т.е. человек на 10. Это была ранняя осень в бескрайней степи, серо-зелёной, полынной. Тёплый ветер. Ещё не начался падеж быков (а у нас их было около двух десятков). Цены на обеды в столовой были очень низкие, и обеды были вкусными. Наташа была очень энергичной (привыкла к экспедициям); мельница стояла в 1,5 км от степного села, и посторонних мы не кормили. На мельнице дела шли хорошо, возы из глубинки с зерном — пшеницей и главным образом, просом — поступали непрерывно. Я, как директор, глядел в цеху на бункера с просом, побаиваясь, знал, что если упасть — из-под проса не выбраться — засосет, как в трясину. Женька на ходу брала зерно и муку на анализ (на ситах и пр.). Жизнь шла весело.

Потом внезапно началась зима — выпал в степи снег, появились льдинки на Иртыше (мельница стояла на берегу его, Иртыш там был чуть пошире Невы). Сено заготовлено не было раньше, степь стала белой от снега, быки начали падать (это ведь не хищники, их надо кормить ежедневно, и не зерном, а сеном с отрубями). Я знал об этом, но сделать ничего не мог. Не в моей власти было заменить быков на ишаков. Ещё была у нас на мельнице одна кобыла, её тоже надо кормить. Ещё была хорошая чёрная дворняга, она питалась где-то в селе — сама.

И вот заболела сильно Наташа, слегла. Может быть, не оправилась ещё от блокадной пневмонии, может быть, угнетала надпись в паспорте — что немка и незамужняя. Думаю, обе причины действовали совместно. Врач (интернированный) Генрих Гейне сказал, что положение он считает безнадежным — инфекция гриппа в мозг. Я понял, что вирус прошёл через истощенный гемато-энцефалический барьер. Маме было тогда (1878-1942) 64 года, больная нейритом и артритом. Через неделю мы с Ирой провели у её ложа последнюю ночь, она была уже почти без сознания. Похоронили в степи (кладбища там не было) на диком берегу Иртыша, недалеко от могилы Ермака (30 км). Мир её праху, дорогая моя сестричка на этом берегу, и душе — на более дальнем!

Вернусь к «родным и близким» в Ленинграде.

Мама поселилась в квартире на Васильевском. Одна (Наташина комната) отпала, осталось две сугубо смежных (28 + 12 м²). Одна — светлая, с окнами на SW на Большой проспект, наискось от Андреевского рынка, где я провёл свое детство. В ЖЭКе считали, что я убит на фронте, поэтому вещи почти не растащили. В этих комнатах уже жил бывший моряк Дунин (он был понятым при моем аресте в 1938 году). Теперь я, фронтовик, инвалид Отечественной войны и за ½ часа его выставил, прописался с мамой и начал там жить. Сразу меня выбрали квартуполномоченным (в квартире было уже 5 семей, меня ещё кое-кто из прежних жильцов помнил), и я не возражал идти по стопам моего отца покойного; много лет с тех пор (1944-1985) более сорока, я мирил многие ссоры, мне было легко это делать, поскольку я в этой «вороньей слободке» фактически не проживал и терпеливо сносил упреки жильцов, понимая, что если я прописан здесь, то мне не грозит потеря жилплощади; я живу фактически в Ленинграде и бываю здесь почти каждый день, и в ЖЭКе это поняли, что пока я жив, отобрать сугубо — смежные комнаты (ход через ванную) — не удастся.

Маме было тогда 66 лет. Её очень мучали боли (нестерпимые) в руках (нейромизлит), но ещё могла бодро двигаться и дома, и на улице. Могла готовить себе пищу и выходить в магазин. Получала минимальную пенсию (как иждивенка), и этого ей хватало.

Я приходил к маме каждый день ненадолго, позже бывала и Женька с детьми, особенно с Олегом, её «любимчиком». (Вера Болеславовна всегда была пристрастной, и даже в детстве я это чувствовал, будучи тоже «любимчиком». Только после смерти Наташи это, к «счастью», уравновесилось.) Наташа была, конечно, морально выше меня — она никогда не была эгоисткой и жила для родных и близких ей людей.

Когда я стал работать на 1/2 ставки в ЛИФИК (Ленинградский институт Физиотерапии и Курортологии) я мог, по дороге со Среднего на Детскую улицу, заходить к маме и что-то там делать. Позже я брал с В.О. судки и заносил ей обед каждый день, и кое-что покупал по дороге мимо рынка; подольше разговаривать не удавалось; читать мама очень не любила. Приезжала к ней тётя Аня, но с годами всё реже и реже, заменяя встречи перепиской. Иногда мама приезжала к нам, по праздникам, радовалась моим скромным успехам на работе и мечтала, что когда-нибудь я стану профессором; я заверял её, что может быть когда-нибудь и стану, но нескоро. Но она дожила до защиты

моей докторской и потихоньку хвастала жильцам успехами своего «квартуполномоченного» — эта мысль об успехах как-то утешала. Так протекали годы; я очень просил маму делать хоть слабенькую зарядку, но ей не хотелось из-за болей в кистях рук. Летом 1965 года, в день нашей с Женькой свадьбы (годовщину 29/VIII) и мама была в нашей семье (а мы где-то на юге), с ней случилось что-то вроде инсульта, нарушилась речь (она сидела в садике нашем, рядом с парадной). Мы скоро приехали в Ленинград (дома были лишь две бабки — Паня и Женя), уже были обратные билеты, начинался учебный год. Она осталась у нас и почти три года лежала; за ней ухаживали Женька, баба Паня и наши, уже подростки, ребята. Она очень приняла в те годы Женьку, как родную, и ревность ко мне уже не сквозила. Скончалась она в июле 1968 года, не дожив месяца до девяноста лет, похоронена на Северном кладбище в Парголово, рядом с канавкой (вдоль Сосновой улицы), где я намечал место и для себя.

Мир праху твоему, мама, нелёгкая у тебя была жизнь!

15/X 1988

Мы старались каждое лето вывозить детей из города, в разные места. Не помню порядка; часто (с кем-то из приятелей) с детьми (Медведевыми, Мариной Ивановной — нашей лаборанткой из ЛГУ, Колькой Алекс., Еленой Аркадьевной Сопотько, Е.А. Аллик, Заками, Галей Вязмит., Галей Кошелевой и др.). Дети росли.

Первый год (когда Таньке было ещё 2 месяца) их повезли в Шувалово с Верой Георгиевной, мамой Женьки; ещё с вокзала мы увидели в поселке дым, вдалеке; почему-то решили, что наша дача горит. Побежали; верно, мы горели. Вера Георгиевна успела спустить детей с балкона, героически, и всё сгорело благополучно.

Потом два лета в Рождествене (бывшая усадьба Набоковых) — остатки помещичьего дома и церкви, чудные места (30 км от Гатчины, автобус). Жили там с Медведевыми и Галей Вязмитиновой. Помню, как Женька пошла утром за грибами к речке, с утра съела только слегка засоленных грибов на блюдецке; пошла — и ей стало плохо. Я успел притащить её на руках домой; рвота, Мишка Медведев побежал за врачом. Женька уже без сознания, врач говорит «кончается». Я требую промыть желудок; лошадиные дозы раствора KMnO₄ и молоко, молоко... Удалось откачать, совсем уже смерть была близка (у В.Г. в этот момент сердечный приступ, без сознания). К вечеру пришла Верочка Прохорова из Сиверской (7 км) с тортом (в этот день был юбилей нашей свадьбы,

29 августа исполнилось 16 лет). Конечно, было не до торта, но всё обошлось хорошо.

Ещё была жива и была с нами Любовь Петровна Медведева, мама Миши, Коли и Нинушки. Была и Вера Георгиевна.

*Жизнь старших близится к закату...
Но как полудня не жалея,
Не остановишь ты с полей
Ползущий дым голубоватый...*

(А.Блок «Возмездие»)

Вере Георгиевне оставалось тогда жить (1947) ещё 7 лет. Нестору Зиновьевичу всего 5 лет; он не дожил до смерти Сталина.

Хорошее было лето; приезжали к нам Заки; тут-то мы и играли в «винт» 2 суток подряд, вшестером, с двумя выходными, дремавшими на веранде (тут Женька и кинула Илье в лицо колоду карт).

Потом вспоминаю ясно 2 лета в Игналине (Литва, 1948, 1949 гг.). Нас туда сосватал Колька Алексеев, он тогда работал ж/д прокурором и познакомился с девушкой, литовкой Вероникой; она работала в ларьке и неправильно привлекалась к суду за хищения книг, которых не было. Ему удалось её освободить; раньше, при «Польше» она окончила гимназию и была образована, и вот туда мы поехали с детьми и с «паном-прокуратором» (Колькой). Мы там были первыми «дачниками»; в то время там чаще бывали «лесные люди»; их население (литовцы) укрывало; они иногда стреляли в русских людей и своих партийцев, и на горе, над нашим домом, по ночам иногда стрекотал пулемет; мы как-то не боялись с малыми детьми (Таньке было 4 года) и Верой Георгиевной. Первый год мы жили слева от ж/д у русской вдовы Жуковой. У неё был хороший набор пластинок Вертинского и Лещенко (от «польских» времен) и мы часто заводили «Ваши пальцы пахнут ладаном» и пр. Раз мы пошли с Женькой в лес по грибы (было их много) и нарвались на землянку-логово «лесных» людей. Побежали; не знаю, чем бы кончилась эта встреча; ведь мы были русские. Больше в те места мы не ходили.

Потом мы поехали с Вероникой (Кольки не было), запрягли лошадь, на подводе на дальний хутор (15 км) на свадьбу литовскую (мы с Женькой ни слова не знали на этом языке). Хорошо пировали, не выпить нельзя было; под вечер на краю хутора пели в голос «нам не страшен серый волк» и пр. В доме почувствовали напряженность, слова только литовские. Вероника шепнула «нам надо бежать, сюда придут «лесные люди», лошадь утром приведут». К нам домой мы побежали через леса, горки и

озера. Помню дивную лунную ночь. Недаром Игналину называли русской Швейцарией (атомная станция ещё не была построена). Добрались до дому к утру.

Второй годы мы жили справа от ж/д, в домике у литовки Брони; она очень любила наших ребят и была прямо влюблена в мою Женьку, так, что мне приходилось ревновать её к Броне; над нашим домиком была горка, и там в лесу курился дымок над землянкой, где висел образок «матки боски Острабрамской». Там гнали самогон из крупчатки. Когда приходила милиция, им ставили стопочку, и хозяев не трогали. Помню до сих пор во рту вкус этого божественного напитка – слегка голубоватого, коллоидной консистенции, ароматного. Как-то мы вчетвером – Женька, Вероника, Колька и я – купили «гуся» (3 литра) и пили его полдня на стог сена. Какая была благодать!

Туда же к нам приехали Галя Кошелева с мужем,левой Гавалласом (он был грек). Они поселились неподалеку с двумя щенками-боксерами, Хиксом и Ханом. Как-то раз Женька нечаянно наступила на ногу одного из них и очень переживала, потому что Галя готовила их к выставке; успокоилась лишь тогда, когда медаль получил другой (Хан?).

Ещё вспоминаю, как мы с детьми были на Украине, на родине Тараса Шевченко на Днепре, в Прохоривке с семьями Аликков и Сопотько и с Юрием Николаевичем Самариным, сыном крупного хирурга. Мищук просил меня взять Юру лаборантом в ЛИФИК. У него была «сонная болезнь», и часто Юра во время работы засыпал. Чудесный он был человек, мир его праху. Мы жили в Прохоривке за рекой на хуторе; помню, как он приехал в грозу, ночью и надо было переходить какую-то речку вброд, иногда – по колено, иногда – по горло. (Хохлушки, идя на базар, перетаскивали своих мужей вброд на спине). Танька очень любила арбузы, и когда они появились, я их катил ногой 3 км через брод, потом обещал ей отвести её в ларек у станции и там дать наесться вволю, ей тогда было около 10 лет. Алёшка строил плотины с сыном Елены Аркадьевны Аркашей (он был на 4 года старше). Помню, как я переплывал Днепр (один из его протоков, широкий), и не мог стать на дно (вязко), пришлось плыть назад. Лежали на песчаном берегу Днепра, и я читал какую-то английскую книгу, а вся компания – спала. Потом и я заснул. Тут паслись козы и успели съесть пачку папирос и выдрать несколько страниц английского словаря (букву «О»). Когда младший брат Аркаши, Борька, спросил отца, Иоганна: «Как же, ты говорил, что капля никотина убивает быка, а козы на следующий день пришли здоровые», – отцу нечего было ответить.

На обратном пути мы впервые осмотрели Киев. Лил страшный дождь, и весь Подол оказался затоплен.

Вспоминаю Карпаты. Лето мы провели в Косове, в городке на склонах гор. Очень там было хорошо. Купались в «гук» — водопадике, падавшем с двухметровой высоты с шумом, и подставляя под него спину было великолепно. Объедались свежими грецкими орехами. По воскресеньям — большие гуцульские ярмарки с нарядными красивыми лицами, с громадным числом ярких ковров («лижников»), сверкающих на солнце. Мы все-таки один купили, хоть с деньгами весь этот период было туго (а когда у нас были деньги?). Как-то ходили в горы с детьми, катались на заднице с пологих гор (они напоминали волны моря, как в «Страшной мести» Гоголя). Было в траве много белых грибов. Сушили. Помню, как в горах мы нашли домик старого народного художника Юрко. Весь расписной, каждая балка с резьбой. Он делал шкатулки тончайшей работы из груши, ясеня и других пород. Удалось купить только маленькую коробочку с инкрустацией. Юрко научил ребят работать на гончарном круге, чему они очень восторгались.

Дома скончался (в больнице Урицкого) наш дорогой «дед», мой тесть Нестор Зиновьевич в 1952 году от болезни почек в возрасте 71 года. Помню последнюю ночь; я сидел в больнице всю ночь и думал иногда о лекции, что мне утром предстояло читать в Большой Химической Аудитории по адсорбции. Была уремия, и почки не выдерживали. Сепсис. Похоронили деда

на Богословском у самой железной дороги на Ладожское озеро. Сколько с тех пор положили туда близких людей (и гробов и урн): Веру Георгиевну (1954), Женьку (1971), бабу Паню (1975), Ксению Георгиевну, Авенира (1977). Уже там выросла большая берёза и ландыши (из Горьковской), и день и ночь грохочут поезда мимо их праха.

Через год умер «отец народа», «гений всех веков» Иосиф Сталин, и у меньшинства людей на душе «полегчало», забрезжила надежда на «лучшие времена».

16.X.88

В это время мы были друзьями с Ириной Фёдоровной Карповой, моей сотрудницей по химфаку. О ней подробнее я писал в «Воспоминаниях о химфаке». Конечно, и семья моя и Ирина Фёдоровна Карпова облегченно вздохнули, понимая, что «гений и злодейство две вещи несовместные» («Моцарт и Сальери» А.С.Пушкина). И мы удивлялись, что многие молодые, даже Юрий Митрофанович Чернобережский (бывавший и в доме Ирины Фёдоровны Карповой) мчался в Москву на похороны Сталина на крыше вагона, рискуя упасть на рельсы. В 1953 году ещё было «поветрие», ещё было (до XX съезда КПСС) упоение образом «отца народа». С Олегом Николаевичем у меня были тогда отношения хорошие. Как-то он привык к моему существованию, и всю работу мы тянули вдвоём, вместе; дел хватало. Он вскоре стал деканом факультета и вел дело требовательно, с нужной



1953, семейный отдых в Джубге

жесткостью. К деканату я отношения не имел, но на кафедре (он был зав. кафедрой) я старался ему помочь, сколько мог. У Ирины Фёдоровны он бывал редко, по праздникам. Но мы были в контакте полным. В это время я часто бывал у неё дома (жила она близко от химфака, на 12 линии В.О., между Большим и Средним, ей было тогда за 50, она на 15 лет была старше меня, родилась на рубеже веков, в 1899), и мы стали хорошими друзьями. Женька была этому довольна, считая меня её воспитанником, и хорошо относилась к Ирине Фёдоровне. Действительно, после моего «воспитания» в Большом Доме, я очень привязался к ней. Она жила одна, муж её (Платковский) и мать погибли в блокаду Ленинграда. Большая комната с «фонарем», увитым цветами, старой мебелью, в коммунальной квартире (одной из соседок была Елена Аркадьевна с мужем и двумя детьми (см. выше)). Она окружала себя молодежью (среди которой был и я), сотрудниками кафедры физической химии и студентами нашей кафедры коллоидной химии. Там бывали (по праздникам и дням рождения) Елена Алексеевна Матерова (моего возраста), ученица и сотрудница Бориса Петровича Никольского (зав. каф. физ. хим.) и его помощница, тоже одинокая, как и Ирина Федоровна (муж ее, Никурашин, погиб на фронте), Нина Викторинична Пешехонова (полурусская, полуангличанка, ставшая после заместителем декана, Олега Николаевича), Надежда Викторовна Лутугина, кончила кафедру физической химии, моложе меня лет на 10 (умерла месяц назад, в 1989 году), человек не радующийся, когда другим плохо (слова Ирины Фёдоровны); Лев Сергеевич Рейшахрит (из прибалтов) с женой Женей Маршак (племянницей известного детского писателя, потом трагически погибшей, упав в колодезь зимой на даче). Из наших студентов бывал там Лева Гудкин, «святой» человек (Г. Гейне говорил, что хороший еврей лучше хорошего немца, но плохой еврей хуже плохого немца, что пророчески подтвердилось после 30-х годов). А у Льва была какая-то доля еврейской крови, которая на русском дереве часто дает благородную прививку. Были там и мои ученицы: Нина Герасимова и Марианна Сидорова; о второй Нина в то время говорила «Эх, мне бы такой быть, как она». Нина училась слевой, и он (как и я) симпатизировал Нине, но сблизился больше с Марианной (она была на два курса моложе) и вскоре М. и Л. поженились. Это было как будто в 1961, уже дат точных не помню. Сталину удалось поставить точку отсчёта событий; от его смерти в 1953 помню, что — «до» и что — «после». Так вот, они поженились вроде в 1961 году и начали жить у её родителей в мансарде (родители — оба художники, она — латышка, он — донской казак, сейчас оба здравствуют, им близко к 80-ти годам). Хорошая семья сложилась под

крылышком Ирины Фёдоровны (дай Бог мир её праху). Но я опять растекаюсь мыслию по древу и обращаюсь к моей семье.

Помню, как мы с детьми поехали в Крым. Куда — неизвестно. На разведку поехали я с Танькой. Ей было лет 15 (~ 1960 г.). Поехали в Рыбачье (восточнее Ялты). Море чудесное там; где-то близко, в Ливадии отдыхали Заки; первое впечатление было утром от Никитского сада: люди накрывали чёрной тряпкой бюст Молотова. Начался просвет, Хрущевский период потепления, годовщина (или уже начался) XX съезда КПСС. Мы встретились с Заками в Ливадии и там поселились, соединившись с Женькой и Алёшкой.

Чудесный парк перед дворцом Александра III, сосны, секвойи, море сверху (там была Ялтинская конференция), царская дорожка, блики волн. Помню, как мы с заковскими и нашими детьми плыли на катере в Мисхор и Алушту; море стало штормить и было страшновато плыть назад вдоль каменной отвесной стенки Ай-Петри, высотой около километра. Катер сильно качало и нас где-то (Мисхор?) высадили, началась уже ночь, когда мы добрались пешком до дому (Ливадия); Татьяна Буссен была в панике и ужасе, что дети пропали. Через пару дней мы отправились в поход с нашими детьми (уже без Заков) смотреть восход солнца с вершины Ай-Петри. Перед рассветом мы пошли, и никакого обещанного «зелёного луча» в море на восходе, честно скажу, мы не увидели. В этот день должен был туда подняться то ли Хо-Ши-Мин, то ли Ким-Ир-Сен, и меня за него немногочисленные зрители (туристы) приуныли, поскольку я был гол до пояса и на голову накрутил мою желтую майку. На вершине мы легли полежать на утреннем солнце и, оставив детей, подползли к обрыву высотой ~ 1 км полюбоваться на море. В это время пара огромных орлов начала кружиться над нашими детьми на голой вершине; Таньке, правда, было уже лет 14, но такая встреча могла быть непредсказуемой и два орла могли скинуть ребёнка с обрыва. Мы побежали, крича и маша руками, и всё обошлось хорошо. Назад мы сходили к Мисхору по крутой тропке и сели на автобус, домой. Дивная прогулка!

Незадолго до этого на Богословском стало одной могилкой больше. Вера Георгиевна скончалась в 1954 г., пережив мужа всего на 2 года. Дом пустел. Самсоновы решили меняться с чужими. (Юрка тогда стал добиваться отдельной квартиры в ИВСе. Это было понятно, но для нас — тяжело.) Из старших остались живы баба Паня, ведшая всё хозяйство, и баба Женя (двоюродная сестра Н.З.). У Веры Георгиевны сердце не выдержало; ей было как будто (1889—1954) 65 лет тогда.

Встал вопрос — что делать с коллекциями Нестора Зиновьевича. Ира и Авенир (еще при жизни В.Г.) решили продать её, чтобы помочь деньгами семье Авенира (его трое мальчиков подрастали, они были младше Таньки). Женька и я жалели эту коллекцию, одну из лучших коллекций в СССР, в ней было около 30 тысяч русских монет, серебряных и медных от Петра до наших дней, не считая плакеток, медалей, медальонов, бюстиков. Дед ещё при жизни подарил старшему внуку, Олегу, все советские монеты (серебряные и медные), Олег их собирал, а мне — боны (бумажные дензнаки, начиная с Николая II). Медальоны и прочее мы решили оставить, поделив на троих. У музейщиков тогда денег не было, мы решили продать частным лицам (собирателям, В.М. Гаршину и др.) (монеты за 33 тысячи рублей, а теперь, после реформы за 3300 рублей). Коллекция была бесценной, но большего получить не удалось; сохранив за собой право отобрать по 3 экземпляра каждого типа монет (не считаясь с годами выпуска). И я засел за каталоги монет (бывшие у Нестора Зиновьевича), за два месяца отобрал всё более стоящее и подарил их нашему сыну. Ира от своей доли отказалась, и мы поделили с Авениром пополам, до сих пор жалею (жилка коллекционера сказалась), что не мне досталась единственная серебряная монета с изображением Дмитрия Названного, но зато я выиграл в «орла и решку» медальоны Д.И. Менделеева и Ф.М. Достоевского.



~ 1955

Получилось по 11 тысяч (1100 рублей после реформы), несколько медалей (памятных, около 10, о СПб) я сохранил себе; открытки старые (по СПб) я купил сразу после войны, когда продавали всё, что осталось от покойников; и они лежат в шкафу и сейчас, иногда смотрю эти альбомы.

Вскоре Ирка уехала в отдельную квартиру, и у нас поселились новые жильцы. Потом баба Жень сама просилась поселиться в дом престарелых в Стрельне; конечно, там были не те условия, что в Доме Ветеранов Сцены, где жила моя тётя Аня с подругой, но комнаты были и в Стрельне на двоих, и остаток дней своих она прожила покойно. Алёшка её часто навещал. А баба Паня старела, вышла на пенсию, но заправляла нашим несложным хозяйством до 1975 года, когда Оля Валенко и я проводили её в последний путь из дома. Тогда уже открылся крематорий, и урну с прахом зарыли на Богословском. Но это произошло позже, после кончины Женьки. Расскажу, как Женька начала работать. Старшее поколение старилось, а дети подросли. Николай Николаевич Мищук, директор ЛИФик, предложил Жене поработать у нас. После 10 лет с лишним было трудно, конечно, начинать работать. Но он её уговорил, и она поступила в нашу лабораторию биофизики на должность м.н.с., где уже были: Глеб Васильев, ушедший из аспирантуры ЛГУ (работа, начатая Лялькой Штейном, как-то у него не получалась, он, Глеб, был широко, слишком образованным человеком, но творческой инициативы не было), был Сергей Толкачёв (сын профессора аналитической химии ЛГУ, проведший несколько лет в ссылке а юге, сам — химик), больной Юрочка Самарин (см. выше) и лаборант Люся Котова (влюблённая в женатого Сергея Сергеевича), мы её все трое учили на заочном факультете; очень хорошая девушка, она одна ещё жива, живет с мужем в другом городе. Женька вместе с ними начала заниматься ионофорезом — на кроликах и на нас самих; до сих пор у меня сохранились рубцы от ожога NaOH. Работа шла успешно, приходила и Марианна ставить опыты по вызванной поляризации кожных покровов (но это позже). У Марианны слевой родилась дочь Маргарита (1962), и им удалось через Союз Художников купить квартиру (4-х комнатную) кооперативную в Гавани, на самом берегу Финского залива. Семья счастливо процветала. Марианна стала после блестящего окончания ЛГУ в 1960 году младшим научным сотрудником на нашей кафедре, но много лет за её работой по вызванной поляризации я не следил, вызывая справедливые упреки со стороны аспиранта и самого шефа Олега Николаевича. Карпова говорила, что в науке Марианна сама всего добьётся. Её способности уже тогда были видны воочию. А я, несмотря на перегрузку (заведующий практикумом, справочник

химика, ЛИФик, ионофорез), начинал готовить докторскую, слушая мнения Олега Николаевича, Ирины Фёдоровны и москвичей и, к стыду своему, включил сюда и Марианнину дипломную работу. Но она повернула к мёрзлым грунтам и много успела поработать для геологов.

В это время умер Николай Николаевич Мищук, и ЛИФик закрыли. Женьке пришлось поступить ассистентом в техникум, а потом в Педиатрический Институт на кафедру общей химии преподавателем.

17.X.88.

Помню лишь отдельные вехи, заснеженные на долгом и очень коротком пути. О поездке в Карпаты (см. выше). На обратном пути мы ехали через Львов; небольшой, но вполне европейский город с хорошими каменными (не кирпичными) зданиями, над ними – гора Святого Давида, наверху остатки парка и крепости. У нас было несколько часов до львовского поезда; мы полезли в гору с дивным видом сверху на город. Танька полезла на дерево, и мы не могли её снять. Она плача, кричала: «Вот позвоню бабе Пане, она приедет и снимет» (был конец 50-х годов). Алёшке удалось влезть на дерево, и мы её сняли. И даже на поезд успели.

Начались трудные дни, повторявшие мои пути. В 1961 году Алёшка поступал на физфак ЛГУ. Отметки в школе были приличные (~ 4). Фамилия у них была материнская – Цыгир, так как была война с немцами, когда они рождались. Первый письменный экзамен по литературе – двойка. Но он всегда по литературе получал пять и был грамотным. Пришлось просить приемную комиссию затребовать сочинение. Его не удалось прочитать, но оценку поставили «3», и он был принят, правда, без стипендии. Такие «ударчики» были частыми. Но с Танькой уже было легче, хотя фамилия, казавшаяся еврейской, висела (тогда уже началось гонение на «иноплеменцев»). Танька поступила в 1963 году на химфак ЛГУ, продолжилась со скрипом традиция рода. Дед мой кончил Санкт-Петербургский Университет по естественному факультету и стал учителем гимназии в г. Кронштадте по математике, отец кончал юридический факультет Университета (вместе с А. Блоком); они гонялись на велосипедах по светлому коридору (330 м) на 2 этаже (Блок потом перешёл на филологическое отделение). Отец мой стал участковым следователем в Царском Селе (в Софии), где я позже и родился. А мы с Танькой стали химиками, Алёшка – физиком. Все боли залечивались.

*Коридор Петровских Коллегий
Бесконечен, гулок и прям.
Что угодно может случиться,
Но он будет упрямо сниться,
Тем, кто нынче проходит там...*

(А. Ахматова «Поэма без героя»)

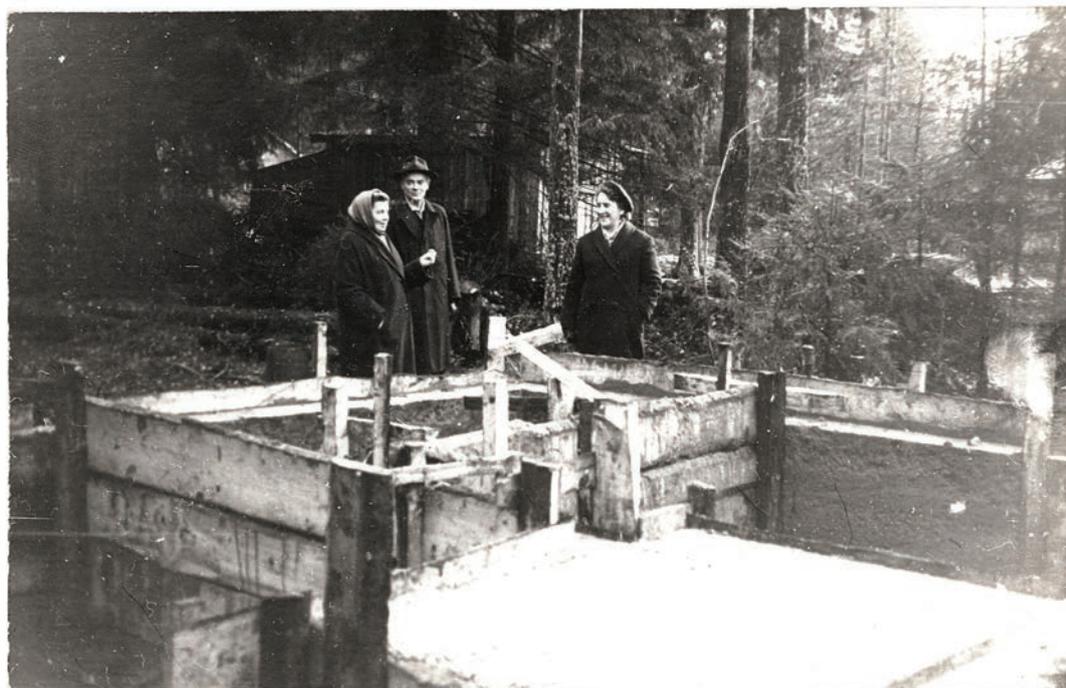
Не было лета, когда нам не удавалось бы вывезти детей за город. Особенно ярко помню снова поездку в Игналину (Литва) на хутор (6 км от станции). Уже в то время «лесных людей» не было. На хуторе жил с нами в одном доме Борис Сергеевич Красиков, работавший доцентом (или ст.н. сотрудником) кафедры электрохимии ЛГУ. Он был ненамного моложе меня (лет на 5), и сейчас там работает. Помню его отца, Сергея Евграфовича, приятеля Ивана Ивановича, великолепного мастера по созданию всевозможных экспериментальных установок и стеклодувным работам. Борис пошёл в него. Умница и чудный мастер. Помню фигуру Бориса, чёрного, в одних плавках, растаскивающего балки крыши, великого, как античный бог. Дом удалось отстоять. Борис всем помогал: копал колодцы для крестьян, чинил всякое хозяйство, собирал грибы, ловил рыбу и всех наделял лесными дарами. И работы его на факультет (я знал их) имели немалую научную ценность. Жаль, что уже тогда он стал плохо слышать. Несколько ночей мы ходили с ним по кругу с лодкой вдоль берега озера ловить раков. Борис ходил со светящимся (от батарейки) фонарём на лбу, как циклоп, и учил меня, как ловить: когда рак лежит на мелком дне под лучом света, надо палочкой подтолкнуть его и хватать рукой, бросая в лодку; «самые лучшие – трёхлетки», и я почти через 30 лет помню эту фразу Бориса (сейчас он ещё работает в ЛГУ). Женька взяла с собой Лену Баславскую (дочку Гали Вязмитиновой) и девочки с Борисом (Лена была на год старше Тани и младше на год Алеши) поехали на два дня в турпоход по озерам, ловить рыбу. Потом девочки устали так, что потихоньку бросали за борт запасенную наживку. «Эх, черви хороши, сам бы ел», – говорил Борис; остались очень довольны. Потом мы с Женькой поехали на лодке вдвоем. Окуней наловили столько, что уже дети, голодные, кричали с берега: «Хватит!», – а мы всё дергали окуней. Ещё несколько раз Борис с Алёшкой (а может быть и с Танькой) ходили ночью за раками, утром спали, а хозяйка их варила – целое блюдо; Алёшка ездил на велике на станцию за пивом, и начиналось пиршество. А за грибами ходили дважды в день (главным образом, маслята).

На зиму удавалось снимать комнатку в Дачном Тресте в бараке, между Репино и Комарово. Покупали дрова, пилили и кололи их; в холодные зимы на стенах стояла изморозь

(как на Иртыше). По выходным приезжали иногда дети, главным образом, Танька с приятелями. Ранней весной нас выгоняли (были инвалиды и поважнее). Позже, так же несколько зим в Зеленогорске, снимали комнату около ж/д. Помню зимние лунные ночи в лесу, огни проходящих поездов. Хотелось иметь жилье и на лето, да денег не было.

В это время выяснилось, что в ДСК (дачно-строительном кооперативе) есть ещё 20 незанятых участков, и можно их получать. ДСК был создан на базе Академии Наук и какого-то «почтового ящика», и ДСК строил своими силами домики около станции Горьковское Финляндского участка Октябрьской ж/д. Участки лесо-болотистые по 12 соток (1200 кв.м). Соблазн был велик, но денег не было. Мы выбрали участок (0,9 км от ж/д станции) — для Университета давали несколько участков. Мы выбрали участок на бедной почве, лесной, но там росли все дикие ягоды: малина, черника, земляника, голубика, даже брусника, много болиголова, ели, берёзы, сосны, можжевельник. Недалеко поселились университетские работники: Прохоровы, Кондрашовы (Юрочка), Низовкины, Молоденко, Блюментали, Лобашевы и ряд других. Денег надо было внести 2 тысячи рублей (в новых рублях) на самый маленький однокомнатный домик (большинство строило 2-х и 3-х-комнатные, но мы надеялись потом пристроить, так и не удалось). Сейчас у нас есть одна комната (~ 16), веранда (~ 9), тамбур для газовой плиты (~ 4 м²) и отдельно: времянка, сарай и дровяник; вся пристройка ~ 24 м². Дети в то время не стремились ездить за город, и нам

вдвоём с Женькой места хватало. Была сложена печка в комнате (стены из щитов). Построили домик за 2 дня (бригада 6 человек) глубокой осенью 1963 года (денег одолжили, потом отдали); весной 1964 начали обживать и даже принимать знакомых. Помню приезд Марианны с малой дочкой; она (Маргарита) кувырнулась в пруд перед домом (воронка от бомбы), чуть не захлебнувшись, но Женька быстро оттерла ребёнка спиртом (ей было тогда года 3), и всё обошлось без простуды. Забыл упомянуть наших знакомых — Молоденко. Прасковья Яковлевна бывала часто у Ирины Фёдоровны (работала ассистентом на кафедре физ.химии), сейчас она на пенсии и живет летом в Горьковском, муж её, Иван Феофанович, недавно скончался. У неё много внуков, она их пасёт. Она появилась на кафедре физической химии много позже войны, помогала Лутугиной в учебной работе и неплохо «вписалась» в салон Карповой; очень доброжелательная женщина.



1963, строительство дачи в Горьковском

А в семье кончалась эпоха романов наших детей. Учились они нормально, на 4, иногда на 5. Алёшка был как будто посильнее (как мужчина), и ему было больше времени для учёбы. Кончил он в 1966 (?) и вскоре женился. Его жена Айя (Айпара) — отец из азербайджанского высокого рода, Мирджемаль-оглы и т.д. Мать — русская, с лёгким польским оттенком — Запольская, биолог, зав. лабораторией в институте Рентгена. Айя была задумчивой, мало заметной внешне, очень привязанная к маме и брату Гюнею (ходили слухи, что Алёшка увлек её «на пари», но думаю, это анекдот). В ней было много глубокого (и в нём, и это могло их сблизить). Их скромная свадьба была после окончания физфака (оба там учились). Её любимым писателем был Достоевский, его — Ахматова и Блок. Я вполне разделяю их выбор. Поселились они на Васильевском, в нашей квартире, где жила моя мама, Вера Болеславовна. После смерти моей сестры Наташи она сильно сдала (см. выше про Семиарку и Семипалатинск); но ей уже было тогда далеко за 80, и она нуждалась в уходе. Мы её в это время переселили на Некрасова в дом родителей Жени, где за ней заботливо ухаживали Женька и баба Паня. У мамы начались парезы, перешедшие в инсульт. Дожила она в своей сложной жизни (смерть трёхлетнего сына-первенца, конфликты с моим отцом, мой арест, блокада Ленинграда, эвакуация в Куйбышев, смерть любимой дочери, поле этого — болезни нервной системы, страшные боли в руках — миэлит) до 90 лет и скончалась у нас дома в 1968 году.

С Женькой у неё в конце жизни стали очень хорошие человеческие отношения. Почти всю жизнь мама прохладно к Женьке относилась (может быть, ревность, может быть, ей казалось, что её Димочка достоин лучшей жены (какой — она и сама не знала и не подозревала), что её Димочка далеко не идеал, может быть, заговорила и капля «столбовой» дворянской крови предков, не знаю, и не мне об этом судить). Но последние несколько лет её жизни она полюбила Женьку и ушла из жизни с этой любовью; Женька на это чувство радостно отвечала («без аффектов», как выступала иногда её сестрица, которая уже с нами не жила). Вскоре Айя с Алёшкой переехали на Достоевского к её матери и её няньке, Вере Алексеевне. Вера Алексеевна и сейчас жива и с ними живет. Алёшка всегда был верным Айе (видимо, однолюб), но эти вопросы не обсуждаю — ничего не знаю. Их сын, Кирилка Цыгир, сейчас кончил 2 курса юридического факультета ЛГУ и призван в армию по наземному обслуживанию лётчиков. Последний год он не раз навещал меня. Интересный юноша, серьёзный, изящный (интереснее отца и меня, деда). Так что он пошёл по стопам прадеда, моего отца. И что-то в его

облике напоминает его, несмотря на полное несходство черт (там ещё и азербайджанская, кроме польской крови, сказывается). Но Женьку уже тогда одолевали сомнения, что Айя не введёт сына в свой семейный «клан» (её мать, брат). Много позже, мы с Марианной ездили в Баку на конференцию и несколько дней жили в семье двоюродной сестры Айи, и с ними познакомилась. Очень хорошее впечатление осталось от них. Это — азербайджанцы (в роду и князя, и деятели революции на Кавказе). Но Женькино провиденье её не обмануло. Алёшка в этой семье оказался как-то одиноким, хотя нежно любит Айю и посейчас.

По-иному складывалась судьба нашей дочки, Таньки. После окончания химфака (она хотела идти на нашу кафедру, но я был против, несмотря на желание Женьки, и она пошла на органику, сделала хорошую дипломную работу у Ирины Алексеевны Фаворской, младшей дочери академика Фаворского; неплохой диплом (5) во ВНИИСКе у Южелевского) в 1968 году вскоре вышла замуж за приятного мальчика, Андрея Долецкого, сына крупного детского врача, профессора. Танька уехала в Москву. Там была помпезная свадьба, «сливки» московского света. Были артисты, профессора, политические деятели, дочка Хрущева с мужем Аджубеем. Уже в то время Хрущев был снят, появился «застойный» Брежнев, уже совершился XX съезд КПСС, и был разоблачен «культ личности»; вероятно на этом и пострадал он; конечно, Никита был мужик смелый, открыл «окно в Европу», но сам-то он был раньше приспешником Сталина. Эта первая «оттепель» была огромным плюсом, но вся партийная бюрократия ему этого простить не могла, как теперь — перестройки. Был и я на этом рауте с Женькой, была и Марианна, приехавшая по личным и служебным делам (у них родилась уже младшая дочь, Нина). Была и Лена Безладнова, кончившая вместе с Танькой химфак ЛГУ, но по нашей кафедре, под руководством Марианны и моим, умная, хороша собой, смелая и глядевшая на нас, предков, свысока, но всегда исполнительная, внимательная и корректная. Чуть позже она на свадьбе Танькиной познакомилась с Андреем Грицманом, другом Долецкого (они вместе учились в медицинском институте в Москве), и они быстро поженились. Ещё держалась волна «оттепели». Позже оба они уехали в США, и Лена там быстро нашла работу по биохимии, поскольку и там уже знали о нашей советской школе по электрокинетике, созданной Иваном Ивановичем Жуковым и продолженной нами и моей ученицей Марианной. До этого я защитил, как будто успешно, докторскую (1966), а Марианна — кандидатскую (1967) с не меньшим успехом; одна из глав моей диссертации, думаю, самая главная, включала

дипломную её работу. У меня оппонентами были: член-корреспондент АН Б.В. Дерягин, профессор Нерпин и профессор Мурин Андрей Николаевич. На днях нашёл два экспромта их, написанных на вечеринке на химфаке (тогда ещё можно было ставить на стол бутылки вина) на салфетках. После этого мои ученики подарили мне дорогой для меня коричневый альбом с фотографиями всех моих учеников (~ 15) с шуточными надписями; его я частенько открываю. На первой странице надпись «рыбак рыбака видит издалека», на второй — моё фото, на голове платок Ирины Фёдоровны и надпись «Прекрасен, как бог, в любом обличье, несмотря на кажущееся неприличие».



Очень хороши молодые лица, Марианна сквозь теннисную ракетку и Лев в облике бандита (тоже мой ученик):

*Вы не знакомы с этим бандитом —
Это наш Гудкин знаменитый*

Авторы альбома — Марианна, Лев, Наташа Свердлова. На вечере были и мои школьные друзья: Валерка (см. лодочный поход, выше) и Лева Степанов. Не помню, кто был оппонентом у Марианны (как будто, профессор Духин из Киева и кто-то из нашего Совета). Альбом фото этих событий сохранился, и часто я смотрю на фото Женьки, окруженной цветами (защиты были весной), много разных стихов, поздравлений.

Сегодня утром очень хорошо по радио говорили сначала о музее Оборона Ленинграда, который уничтожили в Соляном Городке (помню, видел его в 1945), чтобы не было фамилий Попкова и Кузнецова, оборонявших город 4 года блокады; потом их расстреляли при Сталине. Теперь хотя

создавать вновь этот Храм (я написал сегодня на радио, что у меня сохранилось 115 открыток, изданных в 1941–46 г.г. в Ленинграде, и предложил прислать кого-нибудь снять их на цветное фото; могу дать их на выставку, но в музей их не отдам).

Читали сегодня стихи репрессированных поэтов, пребывавших многие годы на Колыме, на каторге в 1938 году и до 1954 года. Стихи очень простые, задумывались, вкраплен там и Пушкин, и Блок.

*Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись,
В дни печальные смиришь:
День веселья, верь, настанет...»*

и «Чёрный ворон, белый снег...»

Очень сильные стихи (не хуже, чем В. Шаламов). Какое счастье, что всё это стало доступным, пока мы ещё живы. Помню, как там хотелось (под койкой) писать, хотелось жить. Такой ненасытной жажды той жизни, где бы поняли, что ты — не «враг народа». Это поняла Женька и не поняла в то время Наташа Грудинина (позже — поняла). Это (из учеников) поняла Марианна и не знали другие мои ученики. Поняла Ирина Фёдоровна, не знаю, как отнесся Олег Николаевич. Не то было время, когда можно было об этом говорить даже просто знакомым.

Потом по радио — музыка и песни Генделя, дальше — Чайковский и Кальман. Днём — начало передачи «Князь Серебряный» Алексея Константиновича Толстого. Как девушка, спасаясь от погони любимца Грозного Вяземского, вышла замуж за пожилого боярина Морозова, спасшего её, и дала в церкви клятву не посрамить его честь. А она уже дала князю Серебряному обещание, и как он, после долгой отлучки, поцеловал её через забор сада и простил её, сказав, что такова «воля Божия».

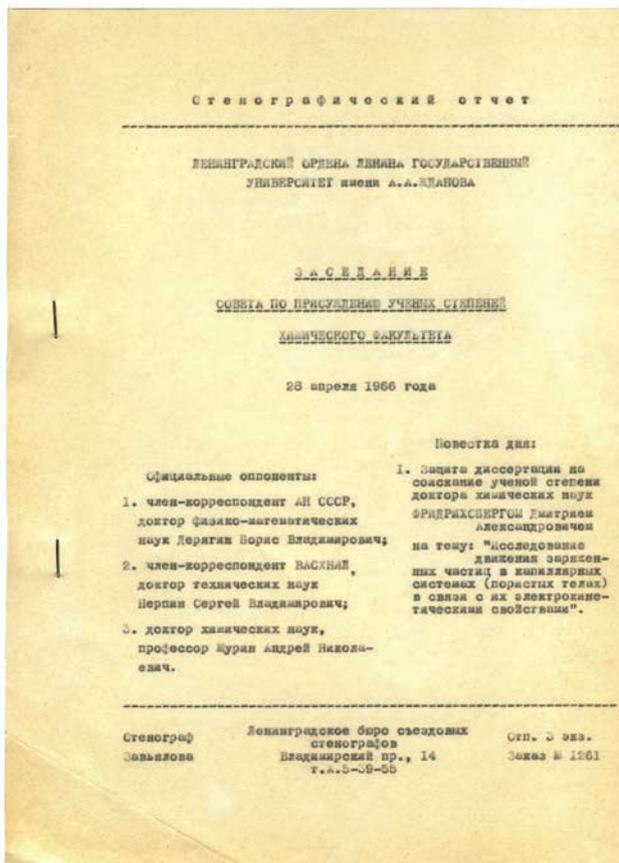
О семье: я ничего не написал о моей сестре Наташе. Она кончала Институт истории театра в 30-х годах; помню, как она с школьной подругой (Люся Иванова) сидела в полумраке на Васильевском острове (у неё была отдельная комната, а я жил до 1938 года с отцом) и что-то читали или говорили стихи. Когда она кончила, работы по театроведению в те годы (середина 30-х годов) не было. Замужем она никогда не была, пришлось учиться на курсах (высшее образование у неё было), и она стала работать в ЦНИГРИ (потом ВСЕГЕИ) у профессора Ю.В. Морачевского. Часто ездила в экспедиции по всему Союзу. Скончалась она в Семиярке на «диком берегу Иртыша» в 1942 году тридцати семи лет от роду (см. выше). Знаю, что её шеф Морачевский был доволен её работой, что она

открыла первые советские залежи касситерита (SnO_2) на Кавказе, залежи столь нужного советской стране олова.

Продолжаю о Таньке. Брак её довольно быстро распался, молодые жили у родителей, и Таньке не удалось, а может быть и не очень хотелось становиться хозяйкой высокопоставленного дома высшего света, «высокого мещанства» Москвы. Не помню, писал ли о свадьбе Таньки в Москве; там были Аджубей (зять Никиты Сергеевича Хрущева) с дочкой его Радой, артисты и другие. Была и Марианна, приехавшая по делам в Москву. Рада мне понравилась своей не помпезной, сдержанной скромностью. Аджубей тоже был неплох, не «изображал из себя». Не было по анекдоту «не имей сто друзей, а женись как Аджубей».

Конечно, в Москве был Василий Блаженный, но не было Медного Всадника, бескрайнего простора колоннад нашего города, и молодой женщине, выросшей в семье без достатка, но со следами былой интеллигентности родителей, было не по себе, муж её и родители хотели строгой дисциплины, к которой готова она не была. Муж её готовился в ординатуру, был приятным, ещё зелёным, как и она.

А в Ленинграде оставался кавалер, попавший в больницу, и может быть (не знаю) писавшей жалостные письма. Помню, приезды в Ленинград Андрея, поддержку отца и матери,



1966



- 1970

меня и Женьки, её состоявшегося брака, долгие сцены; кончилось тем, что они развелись (к счастью, детей не было), она вернулась в Ленинград и вышла замуж за Володю Булавинова. Его родители — отец из казаков с какой-то грузинской примесью крови, мать — врач. Володя учился на заочном физическом факультете ЛГУ. Но поселиться в нашей семье им не удалось, прописка — московская, и к родителям своим её не прописали. Тогда его родители получили ордер на квартиру (отец был военный) на окраине Ленинграда и оставили Володе свою маленькую квартирку на Петроградской стороне, где Танька с Володей и поселились (на последнем этаже).

Но я забежал вперед. Задолго до наших защит Ирине Фёдоровне пришлось уйти из ЛГУ в Институт Советской Торговли, под крыло ученика И.И. Жукова Александра Васильевича Марковича (очень милого и очень скучного человека, как позже говорила Ирина Фёдоровна). Это случилось в 1959 году. К Ирине Фёдоровне, работавшей в проходной комнате, идущей в кабинет шефа, Олега Николаевича, декана факультета, часто приходило много знакомых. Приходил и Серёжка Андреев (мой соученик по химфаку). Они часто говорили о Боге, совести и пр. (в этих разговорах в 1960 году участвовал и я). Как-то раз бледный зам. декана привел ко мне человека, назвавшего себя сотрудником КГБ, который спрашивал, о чём говорила Ирина Фёдоровна и как о Боге.

Я ответил, что И.Ф., мне кажется, была человеком верующим, но в церковь, как и в иные храмы, не ходила, религиозной не была и понимала веру как долг моральный, как совесть. Разговор далее не продолжался и шёл в корректных тонах. Не знаю, что говорил Андреев (позже он был уличен в подделке работы своей ученицы на кафедре общей химии), и его выставили с химфака Олег Николаевич и Лев Сергеевич в Текстильный институт (позже там он «съел» нашего Новодранова, откуда было видно, что он за птица).

Потом бывали мы на «братских» могилах на Голодае; рядом с той небольшой горкой, где в детстве моем сидел мой отец сторожем огорода и рядом с той траншеей типографии АН СССР (на 8-й линии В.О. угол Большого), куда я опустил его тело в блокадную зиму 1942 года, и Карпова там же, на горке, сделала условную могилку для своего мужа и матери (скончавшихся в 1941 году при выезде из осажденного Ленинграда). Бывал я и на старом Смоленском кладбище, где похоронены мои дед и бабка (Змигродский Болеслав Афанасьевич (1917) и Анна Ивановна Доброва (~1926?). Могилы другого моего деда на Немецком Смоленском найти я уже не смог. Там же похоронен и дядя Марианны Латц. Мы посетили с Марианной и его могилку (брат матери). Марианне после защиты диссертации удалось поехать за «ближний рубеж» почти на год на стажировку в Болгарию к профессору (ныне академик) Алексею Дмитриевичу Шелудко (его родители туда приехали из Одессы). Это была одна из первых поездок за рубеж с нашей кафедры, поездку очень поддерживал наш шеф Олег Николаевич. Её работа совместно с болгарскими учёными заслужила большой успех. Она уехала туда в начале осени через Москву, откуда написала мне, что ехать ей не хочется, но надо.

После моей защиты О.Н. сказал мне, что «Вы меня на 10 лет моложе – примите нашу кафедру». После долгих колебаний (Женька противилась) я стал зав.кафедрой коллоидной химии ЛГУ в 1967 году и с тех пор 20 лет ею руководил (Олег Николаевич перешёл на пост руководителя научной лаборатории электрокинетических явлений). Мы вместе ею управляли, но «чёрная кошечка» уже пробежала от ухода И.Ф., несмотря на сохранившиеся хорошие отношения. Вскоре после отъезда Марианны (в сентябре), когда в Горьковском расцвели поздние цветы – безвременники, а Женька кончала писать кандидатскую диссертацию по ионофорезу (она была ассистентом Ленинградского Педиатрического Института), мне позвонили, что Женя заболела на работе, на заседании их кафедры. Я в этот день должен был уезжать на

конференцию вместе с Алексеем Георгиевичем Морачевским и Адольфом Ароновичем Львом в Ригу на несколько дней. Я успел примчаться в Пединститут, отменив поездку, и застал её лежащей на лабораторном столе с рвотой, почти без сознания; но она узнала меня. Врач нашёл, что это – обширное кровоизлияние в мозг, на почве гипертонической болезни (у неё уже несколько лет давление было иногда выше 200 верхнее на 100-120 – нижнее). Сразу её на скорой отвезли в ближайшую больницу (областную, недалеко от «Крестов» за Финляндским вокзалом). Там сказали, что положение безнадежно, и к вечеру она скончалась на постели, при мне, я был с ней последние её минуты (уже без сознания). Помню, как дежурная врача что-то писала тихо в историях болезни и делала ей уколы. Ночью я сидел в морге с нею. Она была уже раздета; меня впустили. Обрывки страшных воспоминаний ещё сейчас, через 17 лет, не покидают меня. Потом хлопоты, вынос. Чёрные африканцы студенты несли гроб. Кремиции тогда не было, похоронили на Богословском, рядом с её родителями.



~ 1970, Евгения Несторовна Цыгир

Не море ли?
Нет, это только хвоя
Могильная, и в налипаны пен
Всё ближе, ближе...
Marche fu nebre...
Шопен.

(А. Ахматова «Поэма без героя»,
посвящение. 27/XII 1940)

Похоронят, заруют глубоко,
Бедный холмик травой порастёт,
И услышим: далёко, высоко
На земле где-то дождик идёт.

Ни о чем уж мы больше не спросим,
Пробудясь от ленивого сна.
Знаем: если не громко – там осень,
Если бурно – там, значит, весна.

Хорошо, что в дремотные звуки
Не вступают восторг и тоска,
Что от муки любви и разлуки
Упасла гробовая доска.

Торопиться не надо, уютно;
Здесь, пожалуй, надумаем мы
Что под жизнью беспутной и путной
Разумели людские умы.

18 октября 1915 г.
(А. Блок, собр.соч., III, 154, ГИХЛ)

Уже 17 лет прошло, а всё страшно вспоминать. В доме со мной осталась одна баба Паня. Дети были на других квартирах (Танька на Петроградской, Алёшка на Конюшенной (ул. Перовской); появились внуки. Со старшим, Кирилкой, Женька проводила последнее лето в Горьковском, ему было уже в то время 2 года. У Таньки уже появился тоже сын, Дима (1970) от Володи и готовился второй ребенок (Иннокентий, Кеша, по имени моего друга Кеша Карманова в Краснодаре). Очень смущало Женьку в последний отрезок её жизни это будущее явление, хотя и понимала его как радостное. Предстояло: уход с работы, домашнее хозяйство и т.д. Диссертация уже была ею написана, хорошая, это тоже потребовало больших усилий, она, как и в картах, и во всём, любила всё делать основательно и добротнo (черта эта передалась Таньке и впоследствии после ошибок молодости она проявилась). Кешка родился весной (20/III 1972) в равноденствие. Интересно, что я родился в самый длинный день года, Женька – в самый короткий, в Рождество (24/XII 1917 по старому стилю, 6/I 1918 по новому). Наш сын – в равноденствие (21/III 1943). Только дочка сбилась в далеком пути из Сибири на месяц и родилась 25 мая 1945 (зато Олег родился

на месяц раньше времени). Мой внук Кирилка родился, как и я – в зенит года (23/VI 1969). Только нет осеннего! Сейчас вспоминаю великих Александров Сергеевичей:

*...она ещё не родила, но по расчёту
по моему должна родить.*

И снова из «Горя уму»: «...в моем календаре... все врут календары». Гениально найдено слово «врут».

Ирина Фёдоровна ушла из жизни за два года перед этим. Помню, как весенним днём (утром) я проводил её в начале последнего её пути, в больницу в 1969 году. Она давно недомогала, приходили к ней домой врачи, делали уколы; может быть, инфекция перешла через шприц. Я очень боюсь уколов, особенно после этого, и в больницах потом, я сколь возможно просил избежать, а врачам хотелось быстрее избавить меня от хвори, забывая, что нельзя безнаказанно преодолевать гемато-энцефалитный барьер (вспоминаю ионофорез – это безопаснее). Конечно, в конце пути приходится принимать и уколы, но это только в критических случаях (а как узнать самому, что уже – пора?). Короче, И.Ф. ушла в больницу и скоро скончалась, одинокая, летом 1969 года. Мы с Женькой тогда поехали на Чёрное море в Джубгу и получили 2 телеграммы – что скончалась мой близкий друг И.Ф., и в тот же день и в тот же час у Айки и Олега родился первенец – Кирилка (23 июня, в ночь с 22 1969 года) в день моего рождения. На пляже горько поплакали с Женькой от горя и радости. Мы ещё были (казалось тогда) молодыми, мне стало 54, Женьке было 51 год.

20.X.88.

Сегодня ясное утро, начало зимы, и не хочется писать о самом грустном. По природе я, конечно, оптимист и эгоист, и эти мои качества – первое унаследовала в большей степени Танька, второе – в малой степени Алёшка.

Сейчас по радио и в газетах главная тема – экология, наконец-то дошли на закате века XX, пусть раньше в США, но и у нас стали писать. Но в России любили природу ещё и тогда, когда США ещё не было. И в Европе это понимали глубже, особенно на Севере. А у нас, рубя лес так, что щепки летели, плакали горько. В русской литературе ещё задолго до Чехова («Вишнёвый сад») и у Тургенева, и у Пушкина, и у протопопа Аввакума, и в «Слове о полку», и в легендах о невидимом граде Китеже. А как спасти природу перед назревающей ядерной войной? Уже добиваются не только до голубого неба, но и до космоса. Вторая тема – борьба за мир – сплетается с первой. Революцию готовили

величайшие люди России, начиная от многих: мы помним о Стеньке Разине, Емельяне Пугачеве, о декабристах, о царских казнях, о Ленине. Сейчас по радио читают про князя Серебряного. Да и вся история российская отражена у А.К. Толстого. Как хорошо описан суд Иоанна над опричником, над Малютой и его сыном, над Серебряным и боярами, его величие (Иоанна IV). Сейчас началось время, когда осуждают Сталина; но ведь он тоже был русский, хотя ближе к Батыю. И сваливать всю вину на него не следует. Вспоминаются пророческие Достоевские стихи Блока:

*Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забывать не в силах ничего.*

*И пусть над нашим смертным ложем
Взвывается с криком воронья, —
Те кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят царствие твоё!*

1914 (А. Блок, III, 278)

*Двадцатый век... ещё бездомней
Ещё страшнее жизни мгла
(Ещё чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).
И отвлечение от жизни,
И к ней безумная любовь и т.д.*

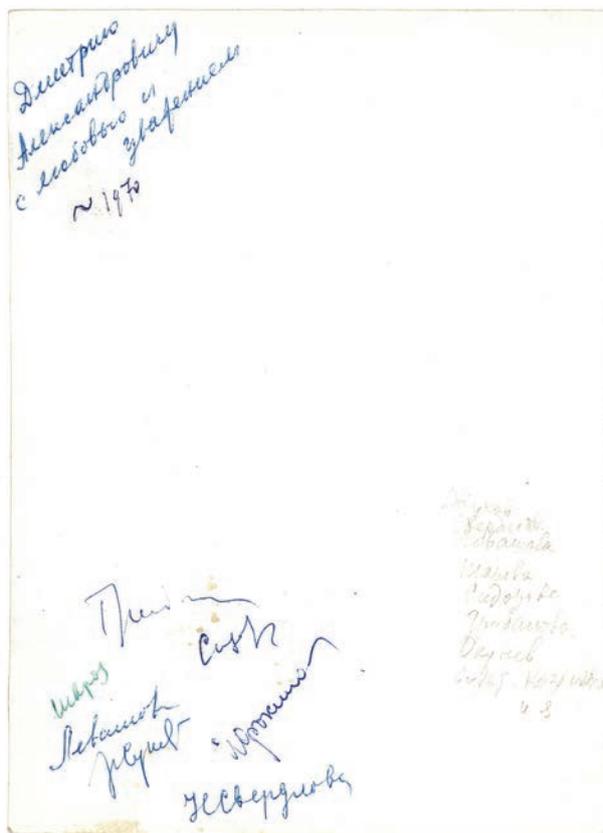
Моря крови были и во времена Батыя, и Грозного, и теперь, в 30-40 годах. Всё это — русское, и величие русской культуры, и отказ от мещанства уничтоженной интеллигенции, и сохранившаяся веками сила русского духа. Надо только очистить от наслоений и от той информативности (которой и обезьяну легко научить); спасти природу. Хорошо, что сейчас берутся, делают первые шаги. Дай-то Бог! Может быть, этот «серебряный век» русской поэзии в начале XX века наконец-то обновится, «перестроится» в конце века. Есть уже зачатки.

Первые дни после ухода Женьки я много бродил по лесам в Горьковском, рассеянно собирал зеленухи и рядовки и думал, что я могу в моей жизни сделать для памяти Женьки. Хотелось написать учебник по коллоидной химии и посвятить его Женьке.

Мысль, конечно, не новая (химик Чичибабин посвятил свой великолепный курс памяти дочке Наташи, свалившейся в чан с концентрированной серной кислотой). Но я понимал, что и плохой смогу (если сумею) не быстрее, чем года через три. Мне удалось написать учебник «Курс коллоидной химии» в 1974 году, одобренный многими в разных городах СССР и за рубежом.



1970, кафедра коллоидной химии



Скоро начались снега, но зеленухи, хотя и замороженные, баба Паня принимала и жарила. Жизнь пошла как всегда «зазигом». «Время собирать камни и разбрасывать их» (Экклезиаст). Я взял в БАН (Библиотека Академии Наук в Ленинграде) читать на английском языке Эдгара Аллана По (и в США были в XIX веке гении и жили также недолго) Сейчас у меня есть в шкафу и Э.По и другая «беззаконная комета на английском небе». Редьярд Киплинг, обе на английском языке "Tales and poems".

Друзья меня в это тяжелое время дарили вниманием. Но самый близкий друг, моя ученица Марианна была далеко в Софии, и я начал писать ей, сначала полубредовые письма, переписывал The Rever, Annabel Lee, The Bell's и прочее. Она отвечала, и более десяти писем я бережно храню. Я кажется забежал вперед; большая дружба началась с переписки, но ведь известно, что переписка в разлуке действует сильнее, чем прямое общение, и в моей жизни примеры были (особенно с Женькой на фронте). Иногда удавалось (редко) позвонить мне в Софию.

Мужчины — все — эгоисты. Настоящие женщины — милосердны, но они редки. Марианна — из таких.

Надо покурить; в те дни я курил чаще, но теперь вышел на обычную норму — раз в час. И в ДПЗ курил чинарики, реже — махру; и подряд писать трудно.

Сейчас P=777 мм Hg, завтра ждём первого снега (в Ленинграде он устойчив пятый, как говаривал Олег Николаевич). Мы крепко сдружились с Марианной через письма. Работа у неё шла успешно, и отношения с шефом сложились хорошие. В Новый год (1972) она на пару дней побывала в Ленинграде, а я в это время был в доме отдыха в Репино. Она приехала в Репино, и мы встретились. Потом опять письма и звонки. Весной 1972 года мне удалось купить путевку туристскую в Болгарию на 12 дней в группе сельхоз. работников (директоров совхозов и партторгов). Страна поразила расцветом её с/х культуры и общим колоритом. Я впервые был за рубежом. Горы, вроде Карпат. Мы ездили по всей стране, поднимались на Шипку (1 км), где местами лежал ещё снег. Наверху — мемориал русским воинам. Болгария — единственная страна в Европе (где я позже бывал), где очень тепло относились к русским, наверное, ещё со времен Кирилла и Мефодия. Какие там горы и как высока была культура в переработке фруктов! Для нас это в диковинку; высокие башни, куда мы поднимались по лестницам; туда загружали многими тоннами фрукты во время сбора урожая и потом прессовали их. Тут же — заводик

(бельгийская техника), где соки разливали в бутылки, а пюре — в консервные банки.

Путешествуя по горным дорогам в автобусе, я читал вслух, по памяти, поэму Константина Симонова «Суворов» про альпийский его поход всей нашей группе (я помнил довольно много) и смерть Суворова (конец поэмы); очень люблю у Симонова именно эту поэму; может быть, за это руководитель группы, парторг, разрешил мне на оставшиеся три дня поездки вместо отдыха на море (на «Золотых песках») отлучиться в Софию, где был Институт Физической Химии Болгарской Академии Наук. Там-то и работала на стажировке Марианна. За это время Шелудко в солнечный день свозил нас на своей машине на гору Витошу (возвышающуюся над Софией). На прогулке я впервые за почти год почувствовал радость. Так хороша была весна! По горе бродили дикие серны и зайцы. Шелудко ножом выкопал два цветущих крокуса с тёмно-лиловыми цветами, и я увез их в Горьковское (на границе их не задержали), успел их посадить перед крыльцом (вся Витоша была осыпана их цветами). Мне удалось поселиться в отеле и каждый день я ходил в Институт БАН (Болгарская Академия Наук). Я встретил мою загоревшую группу и благополучно вернулся в Ленинград. Забыл написать, что вечерами у Шелудко (он коллекционировал пластинки большой музыки) мы слушали Баха, Гайдна, Моцарта. Это было чудесно. А крокусы много лет вылезали из земли, но не цвели; один погиб, а другой лет через десять с лишним расцвел и несколько лет уже дает по 20 цветов каждую весну (один раз я их видел, но теперь и я уже ездить в Горьковское не могу), ездит Танька с взрослыми уже внуками и ведет цветоводство. Как интересно, что цветы переживают людей, такие нежные!

Много раз потом нам удавалось побывать за рубежом (2 раза в ГДР, раз в Болгарии, 2 раза в Венгрии, раз во Франции, на Пиренеях, но нигде там не хотелось остаться навеки). Марианне удалось побывать даже в Голландии и привезти мне в подарок блокнот с цветущими тюльпанами; она там читала лекции (меня тоже звали, но для меня было уже слишком поздно). Дружба укрепилась. Ещё в последний год Женьки мы ездили на экскурсию в Таллин и Сигулду, и оттуда привезли (ездили вчетвером: Женька, Марианна, Лева (муж Марианны) и я; Женька привезла оттуда из леса 2 куста волчьего лыка (весной цветет сказочно красивыми фиолетовыми цветами, бывает весь ими усыпан) — один погиб, а другой Марианна потом выходила, и теперь от него уже множество деток, цветущих этой весной.

Когда Марианна вернулась, я нередко встречал их севой на станции, ночевали в нашей хатке, и они помогли поддерживать цветочное хозяйство. Таньки не было в Ленинграде опять года два (у Марианны дед был садовником в Латвии в большом хозяйстве). Её цветы любили, как и Женьку — это всегда заметно. Но я расписался и ни в какие рамки не влезаю, вряд ли можно надеяться, что кто-то прочтет столь длинную писанину. О наших поездках я уже написал в «Воспоминаниях о химфаке» (ВОХ), которые в одном экземпляре (машинкой не владею) хранятся, как и письма. Короткое резюме. Марианна тогда спасла мне жизнь своими письмами, своей дружбой и нежностью душевной, вместе со Львом, которого я почитаю, как человека «святого». Дай Бог им хорошей и светлой жизни, их дочкам и внукам.

21.X.88

*Милая моя, солнышко лесное,
Где, в каких краях встретишься со мною?*

Ю.Визбор

Вчера вечером, когда все ушли, мы с Танькой слушали песни Визбора. Конечно, и Высоцкий и Галич хороши, но как-то очень возбуждают, волнуют. А у Визбора есть соразмерность, гармония, то, что по Пушкину «не восторг, а вдохновенье» (из писем Пушкина).

Немного осталось писать. Два года назад, на даче, где меня опекала Маргарита с её дочкой (Марианна стала бабушкой — слово это ей нейдёт) я начал писать эти «Мои пути». Марианна мне предложила потом написать ещё «Воспоминания о химфаке» (ВОХ), решив, что кое-что из этого можно дать в стенгазету; думаю, главная цель была не давать мне после ухода на пенсию спускаться так быстро вниз. Вчерне я их написал, теперь надо искать знакомую машинистку (во всех этих записках

ничего крамольного нет, как с точки зрения «прежнего», так и «нового» режима, но в чужие руки в машинописное бюро отдавать не хочется («Торопиться не надо, уютно;»).

Я много писал о себе и о близких, меня окружающих, но мало о семье, о внуках, а они становятся уже людьми; упоминал только о Кирилке летом в Горьковском. Танька не очень долго прожила с Володей после рождения Кеши; позже она говорила мне, что он «хорош, но делает добро так, чтобы это видели открыто». Не могу об этом судить, пусть сама об этом пишет. Может быть, это — вроде нашей ученицы Людды Ермаковой (Бурхард), блестящей студентки (мне удалось взять её в аспирантуру) с острым языком, очень дельной и в науке, и в делах кафедры. Она вышла замуж за сына директора математико-механического факультета. Муж оказался не только лоботрясом (это бы ничего), но не очень приятным, не блещущим умом. И она его бросила, в отличие от других несмелых женщин. Она — свояченица бывшего мужа Гали Кошелевой — Левы Гавалласа, вступившего в новый брак. Чёткий, прямо неженский ум, но, к сожалению, при многообразии интересов (как и Глеб Васильев, см. выше про ЛИФИК) не предана науке, как Марианна, а больше увлекается административной деятельностью, будучи секретарём кафедры.

Так вот Танька, как и Галя Кошелева, решила развестись с Володей незадолго до нашего генерального переезда. Он был спланирован моим сыном с участием Женьки и Таньки. Жизнь в коммунальных квартирах утомила сильно. Мы отдали неважненькую квартирку Таньки (2-х комнатную) + 3 комнаты на Некрасова + 2 комнаты на 4 линии + 2 комнаты в центре у Аи и получили две отдельные квартиры: на М.Конюшенной и на Зверинской, против Владимирского собора. Алёшкина семья поселилась на Перовской, а мы с Танькой на Зверинской. Я как-то мысленно объединяю оба обмена, но на эти темы не хочется думать. Помню, что Женька успела меньше года на Перовской всё же пожить.



1974

От Марианны и Льва (1970) открытка:

*О, новая квартира,
Бывалый чемодан.
Бронзовая люстра,
С пружинами диван.*

*Вот она, обитель
Счастья и чудес,
Даже шкаф старинный
В двери сам пролез.*

*Пусть кончатся заботы,
Устроится уют,
И пусть семейных радостей
Куры не клюют.*

Марианна и Лев

Володя поехал в одну из комнат Аии на Достоевского. Дима ещё лежал в люлке, а сейчас он уже студент физфака ЛГУ. Быстро текут года!

Году в 1977 Танька опять вышла замуж за Олега Полякова. Он кончил географический факультет ЛГУ и начал трудиться на геофизической службе с мечтами о морских просторах, халтурил где-то в джаз-оркестриках, выпивал. Из всех трёх мужей Олег пришёлся мне по вкусу больше всего. Он был моложе Таньки и «прозябал» в метеослужбе. Чувствовалось, что он по-настоящему, а не для показа добр к Таньке и к его приемным детям. Родилась у них Женька (11 мая 1978 года), первая девочка в нашей семье. Володя сохранил хорошие отношения с нашей семьей и с Олегом Поляковым. У меня никогда не возникало впечатления, что между Танькой и Володей могло быть что-либо, кроме дружеских отношений. Сыновей своих он часто посещает. У Володи не так давно появился сын от Танькиной приятельницы, и он вскоре стал кандидатом физ.наук, сильно раздобрел и заматерел. Олег Поляков, высокий и тощий, перестал пить, начал учиться на каких-то курсах морских, продолжая высшее образование; молчалив, умеет работать физически и по хозяйству. Мое впечатление — что это хорошая пара, и Танька много от него взяла в семейных отношениях. Он очень хорош и с Димкой, и с Кешей и ко мне — неплохо.

Одно могу сказать, что на внуков (всех четверых) мы пока не жалуемся, они хорошо вошли в нетребовательные уклады наших семей. Что будет потом — Бог знает, когда появятся жены и мужья? Учатся они прилично, в основном на «хорошо». Танька работала в метеослужбе, но там ей не нравилось. Подчинялась она ГГО (Главная Геофизическая Обсерватория), а там химия пустая (Танька не забыла, что она —



1974, Пулково

химик), в поездках санэпидемстанции дают «добро», а на самом деле экология сильно страдает. Природе защиты нет. Потом она перешла работать на метеостанцию в Копорскую губу на Финском заливе и уехала на два года туда метеорологом. Олег готовился стать штурманом. Я остался один с маленьким песиком Севкой (карликовая лайка), он позже погиб под машиной 3-х лет (1982-1985). Очень мне его жалко. Там же вскоре погибла сучка Танькиной подруги. Теперь у нас хорошая азиатка Маиса.



- 1976

О бабе Пане надо писать не одной «протокольной» фразой», а подробнее. Прасковья Карповна Новик, сводная сестра моего тестя, Нестора, была «добрым гением» всей нашей семьи, сказать проще – тем цементом, связывающим четыре наших поколения. Она вырастила мою жену – Женьку, её детей и внуков на своих руках. Деревенской девчонкой её выписал в Ленинград мой тесть, в 20-х годах, и научил её грамоте. Мне так жалко, что в моем детстве не было такой няньки; мои родители крепко ссорились (казалось им, неизбежно) и некому было примирить их. Несколько раз в год приходила тётя Аня (двоюродная сестра моего отца), актриса Александринского театра, тоже бездетная, незамужняя, но это бывало редко (её отец был учителем русского языка и историком, часто я сейчас достаю его учебник русской истории для третьих классов женских гимназий, Николай Александрович Баженов. В нем всего около 100 страниц – вся русская история – вся русская история – превосходно написанный, ещё до революции, как раз отвечающий моему историческому уровню). Так вот, тётя Аня, конечно, не могла меня воспитывать (может быть, вносила в моё детство какие-то искорки (и как-то ей удавалось избавить моих родителей от полного разрыва, к чему было близко). Но я как будто отвлекся.



~ 1982

У Женькиных родителей, задолго ещё до моего появления в этом доме на Некрасова, произошёл разрыв (как мне под конец жизни рассказала баба Паня). Нестор Зиновьевич научил бабу Паню работать на ротаторной машине. Поступила она в ЛенТАСС. Но это было позже, в 20-х годах у неё было на руках трое ребят – Авенир (родился 1911), Ирина (1914) и Женька (1918). Вчера был год со дня смерти Авенира (пишу 22/Х-88). Сейчас гляжу на портрет их матери, Веры Георгиевны Навменовой, молодой женщины с её неповторимой красотой (родилась в 1889). И дочки её были неплохи, но совсем разные. Ирку баба Паня часто называла «цыганкой». Женьку она тихо любила и всех почти её подруг, а позже и поклонников. В доме собиралось много молодежи, дом был «открытый». Баба Паня быстро умела делать «суп из топора». Вера Георгиевна вернулась в дом задолго до того, как я в этом доме появился. По воскресеньям нас, полуголодных студентов, в этом хлебосольном доме на улице Некрасова кормили. Трапезу в эти дни готовили не только баба Паня, но и Вера Георгиевна, умевшая делать необыкновенные блюда. Эта способность передалась и Женьке и особенно Таньке, умевшей делать и большие, и праздничные обеды, и сплачивать большой круг приятелей. Помню, после войны, достаточно было на минутку забежать домой, как бабка Паня спрашивала: «Что бы вы перекусили?», – и намажет кусочек хлеба маслом, нальет чая, иногда угостит даже печеньем. Такова была баба Паня; до последних лет она работала в ТАССе, успела ещё покачать наших внуков (Танькиных детей). Был у бабы Пани женатый друг (тоже из ТАССа), раз в несколько месяцев днём забегавший к ней, как будто репрессированный ранее.

Маленькой Женьке уже 10 лет, и мы на неё пока не жалуемся.

Художник Ф. Марков

Мы разных возрастов и с разной судьбой:
Большой углем тот, а тот — скромный керк,
Но все слышим сюда, как только нас с тобой
Зовут на Ивский мир Учитель Фридрихсберг.



Он вынул нас в мир, давал нам таланты,
И свет его зовёт с годами на
Вот почему в сердцах у всех у нас Волкены,
Когда в рождение день нас кличет Фридрихсберг.
Как долго будет так? Как знать? — Мы все под Богом,
Не остановим жизнь и времени разбег.
Так пусть же много лет созывает этим роком
Учеников на мир отец наш Фридрихсберг!

MEMLXXXIV

Индекс предприятия связи места назначения

© Министерство связи СССР, 1978. М. ФГ. Зак. 78-0114. Ш. 5 к.

Куда

Искерк.

у нас Волкены,

нас кличет Фридрихсберг.

— Мы все под Богом,

времени разбег.

созывает этим роком

наш Фридрихсберг!

Индекс предприятия связи и адрес отправителя.

Handwritten signature

22.06.84

Д.А. Фридрихсберг

Мои пути

Данное повествование – автобиографические заметки Дмитрия Александровича Фридрихсберга (1915–1989), известного учёного в области коллоидной химии, о своей непростой жизни. Послереволюционное детство, довоенные репрессии, война, эвакуация – рассказы об этом, написанные простым и лёгким языком, вероятно, будут интересны многим, а не только знавшим Дмитрия Александровича лично.

Рукописный вариант данного повествования был создан в 1985–1988 годах. Издание подготовлено к 100-летию со дня рождения Д.А. Фридрихсберга (2015) Л.Э. Ермаковой и Н.П. Кудиной, коллегами Дмитрия Александровича, а также его внуком, Д.В. Булавиновым. В оформлении использованы фотографии и документы из семейного архива.

По всем вопросам связывайтесь, пожалуйста, с Дмитрием Булавиновым:
www.bulawka.ru +7 (921) 949-1166

